

6

ПО ПОВОДУ ПЕРЕПИСКИ
ЭЙДЕЛЬМАНА С АСТАФЬЕВЫМ

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ —
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ —
ЕГОР КУЗЬМИЧ . . .

ПРАГМАТИКА АНЕКДОТА

90

Даугавя



Даугава

И Ю Н Ъ (156)

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ. РИГА

В Н О М Е Р Е:

Проза и поэзия

- 3** *Марис Чаклайс*
Над бездной. Стихи
- 7** *Аншлавс Эзелитис*
Охотники за невестами. Роман. Окончание
- 38** *Игорь Галеев*
Ромодановские дворики. Этюды
Юрий Феоктистов
- 57** **Побег. У меня. «... Солнце с ветром».**
Неустанная борьба. Стихи. Предисловие Т. Феоктистовой
- 60** **Дайны.** Перевод Л. Азаровой
- Публицистика
- 62** **От слов к делу!**
Переписка Н. Я. Эйдельмана с В. П. Астафьевым
- 67** *Юрий Карабчиевский*
Борьба с евреем
- 80** **Точка зрения Виктора Астафьева**
Политический портрет
- 82** *Алла Гдалина*
Трое из одной лодки

1990

6

(см. на обороте)

В НОМЕРЕ (окончание):

Из почты «Даугавы»

- 96** *Марк Виленский*
Последний миф
Культурология
- 99** *Вадим Руднев*
Прагматика анекдота
- 103** *М. И. Шапир*
Исторический анекдот у А. К. Толстого и Н. А. Добролюбова
Обзоры, размышления, рецензии
- 107** *Андрей Левкин*
Советский человек на rendez-vous
Memoria
- 112** *Андрей Задонский*
II. Тубероза. III. На автомобиле через Курляндию
- 119** *Ф. Л. Федоров, А. В. Шавров*
Рисунки забытого художника
К нашим иллюстрациям
- 124** *Андрис Якубан*
Самая короткая ночь . . .
- 126** **Почта «Даугавы»**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Главный редактор
Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия:

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ, Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Адольф ШАПИРО.

Редакция:

Андрис ЯКУБАН, зам. гл. редактора (член редколлегии), Борис ПОПОВ, и. о. отв. секретаря, Роальд ДОБРОВЕНСКИЙ, зав. отд. прозы, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК, зав. отд. поэзии (член редколлегии), Илан ПОЛОЦК, зав. отд. публицистики, Вадим РУДНЕВ, зав. отд. критики, Михаил АФРЕМОВИЧ, зав. отд. писем, Леонид ГУРЕВИЧ, редактор-стилист, Алла ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, спецкорреспондент.

Марис ЧАКЛАЙС — латышский поэт, прозаик, переводчик — родился в Салдусе. В 1964 г. окончил филологический факультет Латвийского государственного университета. Издал на латышском языке около 20 книг — стихи, эссе, сборники для детей. Среди книг в переводе на русский язык: «Пешеход и вечность» [1969], «День травы» [1973], «Зов лесного голубя» [1979], «Огонь в ручье» [1985], «Дерево посреди поля» [1987], «Ждущий знаков» [1988].

Стихи М. Чаклайса переводились на языки народов СССР и зарубежных стран. В переводе М. Чаклайса опубликованы произведения Гете, Рильке, Брехта, Энциенсбергера, Хлебникова, Цветаевой, Маяковского, литовских и армянских поэтов.



НАД БЕЗДНОЙ

Перевел Роальд ДОБРОВЕНСКИЙ

ЧТО ТЫ СЛЫШИШЬ! . .

Что ты там слышишь? Собственный пульс или — дятла, любезный?
Мгла задрожавшая — голос расплащенный — мостик над бездной.

Смерзлись в сосульки проклятья — растаяли — вот уплывают.
Милые облики из облаков ветры сбивают.

Редко сбывается: не ожиданиям долгим в награду —
Меж двух усмешек судьбы, меж пяти стонов из ада.

И не проси ни о чем — все приходит само от предвечной границы.
И неизбытая нежность сквозь руки твои снова струится.

Хочешь не хочешь: пульс — или дятел — живой метроном поднебесный —
Мгла задрожавшая — голос расплащенный — мостик над бездной.

ТВОЙ СОН

Сон твой — белый, как снег в горах.
Он нетающ и недвижим.
Только, звездный взметая прах,
вечность ветром шумит над ним.

Обещание — сон твой. Снам
верить хочется до конца.
Как насадка, надежда нам
вновь высиживает пенца.

Этот сон твой, как смерть, глубок.
Репетиция — ночи, дня? —
где никто не обманет нас:
ни тебя уже, ни меня.

СИНДРОМ ПОДПОЛЯ

С призраками
наплясавшись,
говорю теперь только с березами.

Наболтавшись с березами,
только лишь с небом
согласен плясать.

Но —
отовсюду и всех нас
за шиворот тащит
подполье.

Погреб.
Там, внизу, семьи наши.
Там — наш народ.

КОТЛОВАНЫ, КАРЬЕРЫ, ЯМЫ

Котлованы, карьеры, ямы,
в них вода стоит и ржавеет.
Не прижженные вовремя раны,
воспаленные, в гнойных струпьях.

Котлованы, карьеры, ямы.
Брали, черпали, уходили.
А земля оставалась там же,
бедный зверь, — зализывать раны.

Разрушение ставит клейма,
жизнь — своим резцом гравировует.
Рассекает воду в карьере
мальчугана острое тело.

Котлованы, ямы, карьеры —
как бы мог отразить я лучше
(ямы, зверь, мальчишки и жизнь)
облик, Латвия, образ твой?

ПОЗДНЕЕ СОЛНЦЕ

Отпусти коня, дай волю, пусть летит во весь опор —
жди, готовься: трудный вечер, с поздним солнцем — спор,
не спор?

Берега реке внушают что-то, строгое весьма,
речка слушает, конечно, — бесконечная сама.

Никаких там темных стекол не боится этот свет.
Полупрозрачен, прозрачен ослепленный человек.

Сыплет дождь, снега вздыхают иль тяжелый град стучит —
почерпни в себе сиянье, сам себя переключи
на другое зренье. Кто бы тебя взялся предсказать?

Конь течет, река аллюром скачет; светом по глазам
бьет, как альпенштоком по льду.

Бьет, затем и хочет бить,
чтоб проклятой этой речки блеск веки не забыть.

ЗА СТЕНОЮ ПЕЛИ БАВАРЦЫ

За стеною пели баварцы, но
вдруг замолкли: в воздухе кашу
заварили русские. Мы припадали
телом к земле, будто от самолетов
это и вправду могло нас спасти.
Мы прижимались к земле, повторяя
собой все ложбинки и взгорки,
все контуры, весь рельеф.
Может быть, потому мы и выжили?

За стеной баварцы не бушевали уже,
за стенкой взывали монголы, ели что-то
из банок стеклянных, которые разби-
вали, не умея открыть. И в прошедшем,
в 44-м, клубника все хрустела во рту,
я надеюсь, то все-таки были не стекла . . .

И потом приходили из леса, и снова
нужно было к земле припадать,
прижиматься к стене, а наутро
в лоб отцу смотрели другие и новые
дула, словно что-то ища и стараясь
своей чернотой разглядеть. И баварцы,
и монголы, и летчики, и связники,
и испанцы, и русские и латыши, ла-
тыши, латыши — все смешались на бранных
полях и друг другу через стенку поют,
что-то там друг другу гудят
в барабанную перепонку, но песни
не сходятся, общего знаменателя
нет и нет.

Нет решения. И любовь и вражда
есть метафоры — со всем, что из них
вытекает. Но — прижавшись к этой
круглой земле, все ее очертанья
повторяя, все контуры, весь рельеф,
может быть, мы и выживем все же?

ГДЕ ТЕ ЧАСЫ! . .

Моим армянским друзьям

Где те наши часы, их чистый свет,
и струи взглядов, где наш смех, где трепет,
где бочки, где столы застолий наших,
и листья, опадающие, как
летучий алфавит? Язык любви
был сложен по слогам из этих букв,
уроненных акациями в вашей
стране; тогда же звездная печать
его скрепила. И всему свидетель
Гора. И несмолкающее море.

Теперь, когда и журавлиный клич
подобен паровозному свистку,
и в трещинах земля; когда вражды
конвульсии хроническими стали,
как малярия, — больше ничего
я не прошу. Я знаю: там, за смертью,
мы — рядом; если спичкой в темноте
сгорит столетье, нам опять придется
красть у богов огонь, — к тому идет.
Гора всему свидетель. Да: и море.



Самая короткая ночь . . .

Фото Улдиса Бриедиса

ОХОТНИКИ ЗА НЕВЕСТАМИ

Р о м а н

Перевел Леон ГВИН

17

И стал однажды пир чумой.

Вилис Цедринь

Занималось утро. Взгляд едва пробивался сквозь сизую мглу, но на пустынных улицах, где вольно резвился весенний ветер, выслеживать одинокую парочку было нетрудно. Вот и Старая Рига. Сейчас они остановятся возле узких железных ворот и . . . Эпалта передернуло: так чувствует себя пациент в ожидании болезненной и опасной операции.

Но что это за громадный лимузин, который медленно и неотступно следует за ними? Он обгоняет нашу парочку, останавливается, из него вылезает высокий человек в черном, силы небесные! здороваётся с Николиной. Повелительный жест, и, о чудо, Шетуринь послушно отступает в тень. Николина оглядывается на него, в ее движении прочитывается не то сожаление, не то презрение, да лица не разглядеть.

Эпалт, прячась за выступами стены, подкрадывается к ним поближе. Гром и молния, долговязый — это консул Мэйор! Он что-то говорит ей, быстро и резко, и при этом надвигается на нее, шаг за шагом оттесняя к стене. Хватает за руку — она вырывается — он хватается ее вновь . . . Что, что такое?! Насильник! В гневе Эпалт бросается вперед. Но опережая его, из тьмы выступает стройная фигура, еще один долговязый, под стать консулу. Висвальд первым подбегает к Мэйору, и до Эпалта доносится его мужественный бас:

«Доброй ночи, господин консул. Уж не пытаетесь ли вы переманивать наших сотрудников?»

«Действительно, — сухо отвечает консул,

выпуская руку Николины, — некоторым из них вы платите просто нищенское жалованье».

«Зато верное, в то время как господин консул меняет секретарей . . . гм . . . секретарш . . . каждый месяц».

«Ах, вы, значит, надеетесь получить от них услуги бесплатно?»

«Ошибаетесь, господин консул, — за жалованье, притом такое, которое даже вам не по карману».

«Не задавайтесь, мой юный друг. Жалованье, которое мне не по карману, вы в состоянии предложить только через пастора, а тут вам свойственно отделяться одними обещаниями».

«Господин консул — делец до мозга костей, везде и всюду затевает переговоры и чуть что готов заключить контракт».

Что на это возразил консул, Эпалт не расслышал.

«Мадемуазель Буйвид, — произнес он дрожащим от волнения голосом, — пойдемте, они ссорятся не на шутку. Я вас провожу».

Он бережно взял Николину под локоть; она покорно позволила увести себя с места схватки.

Хмель победы вскружил Эпалту голову. Это же представить только, чего он добился — вырвал Николину из когтей двух самых крупных хищников в Риге. Все еще будет хорошо! Пошатываясь, одолел он без малого десяток шагов, десять ступенек триумфа, — резкие посвисты ветра отдавались в ушах рукоплесканиями миллионов, улица словно расступилась и стала площадью, он засмеялся и сказал: «Вы и впрямь можете гордиться: богатство и мужество сражаются из-за вас, а покорное раболепие, — кивок в сторону Шетурина, — уже поднято на штыки . . . »

Внезапно Николина как бы очнулась, она выдернула локоток из Эпалтовой ладони и возмущенно воскликнула:

«Насмехаться над другими — это все, на что вы способны. Вы самый злой из всех!»

И убежала. Все четверо и опомниться не успели, как она уже исчезла в подворотне.

Консул окатил Висвальда презрительным взглядом, но, получив его назад с процентами, молча сел в лимузин и уехал. Троица невольно переглянулась.

«Ну, дорогие мои? — спросил Висвальд, первым придя в себя. — Каково? Господин Шетурина, вы запачкались, пока подпирали стену. Господин Эпалт, ваш абордаж не удался».

«Ваш тоже».

«И консул отчалил, — хмыкнул Висвальд. — Знаете что? Нас трое, деваться вроде бы некуда, разрешите пригласить вас на кружку пива — «Кубезелия» тут неподалеку».

Лукавая усмешка пробежала по лепным губам Висвальда; уверенный в своем превосходстве в борьбе за Николину, он мог позволить себе королевский жест — позвать к столу тех, кто завтра окажется в проигрыше, все равно им придется искать утешения. Висвальд, во всем подражавший легендарным буршам прошлого столетия, их достойный преемник и наследник, знал только один способ унять сердечную боль. На радостях — пей! с горя — пей; ни горя, ни радости: хандра и сплин — выпей!

Шетурина и Эпалт, к собственному удивлению, приняли приглашение не торгуясь. Губернер к тому же считал себя избранником Николины. Самый верный из всех кавалеров, знаком с нею дольше других, часто провожает ее домой. А минуту назад дрогнул перед консулом? Так это инстинкт зависимого человека, привыкшего усту-

пять дорогу богатству и власти. Празднует труса? Но Николина сама человек подневольный и уж как-нибудь его поймет. Притом он ведь стоял поблизости, да на открытом месте ничего бы и не стряслось, а случись что — закричал бы. К чему дуться, отчего не отправиться с сыном работодателя в резиденцию легендарной «Кубезелии» . . . И у Эпалта тоже выросли крылья. Давешнее отчаяние улетучилось. Хоть на миг, но Николина ему покорилась. Не начни он острить, из желания продемонстрировать свое хладнокровие, увел бы ее непременно. Его рукопожатие, нет — рукоцелование было бы последним, что запомнила Николина после этой бурной ночи. — Вы самый злой. — Слава Богу, по крайней мере этим он выделяется среди остальных, не растворяется в серой массе. За это можно выпить. — Вперед!

Молча подошли к небольшому двухэтажному дому. Висвальд отпер входную дверь и впустил гостей в громадный полутемный гардероб. Выдвигая ногами кренделя, к ним подкатился дежурный, что-то пробормотал Висвальду на ухо. По узкой лестнице они спустились в глубокий просторный подвал с низкими сводами. За некрашеными массивными, без скатертей, столами кучками сидели на тяжелых скамьях кубезельцы в парчовых, расшитых золотом шапочках. Громкими возгласами, высоко вздымая пивные кружки, они приветствовали облаченных во фраки пришельцев. Среди сидящих были Жабье и Задохлик.

«Гляди-ка, Принц Уэльский, блудный сын! — воскликнул Задохлик. — А мы думали, ты на балу. Знать бы, что явишься, заколол бы для тебя не то что барашка — целого теленка».

«Ты бы лучше, Задохлик, себя заколол», — ухмыльнулся Висвальд под громовые раскаты хохота. Задохлик сник.

Принц выказал свою королевскую натуру:

«Коньяку! И ужин — всем!»

Приставив к делу фуксов, — те ловко нанизали на рапиры гроздь колбасок и сгрудились у камина, собираясь их поджарить, — Принц объявил песню и затынул первым, остальные подхватили:

«В сплошной гульбе и кутежах

Ваш сын с утра и до утра.

Ура, с учебой дело швах,

Ах, исключать его пора . . . »

«Cantus ex est! Поднимем бокалы! Не зевай — разевай!»

«Что с вами? Животик болит?» Сосед по столу обратился к Эпалту, который не допил свою рюмку.

«Может, чарка маловата? Эй, они оскорбились, тащи, ребята, полштофку!»

«Катись колбаской», — вспомнив расхожее выражение, прикрикнул на непрошеного благодетеля Эпалт. Но волей-неволей пришлось осушить рюмку до дна.

«Не гони волну!» — добродушно откликнулся такой же шаблонной фразой Жабье и снова наполнил рюмки. Эпалт понял, что попал в капкан. Как он ни плутовал, ни изощрялся, ни фокусничал, — однажды опрокинул даже свою рюмку, — ничто не помогало, приходилось пить снова и снова, и понемногу он хмелел все больше.

Принесли ужин — чан с колбасой и капустой.

«Пива!» — рявкнул на фуксов Принц. В тот же миг как из пулемета захлопали пробки. С быстротой молнии прорезала продолговатый стол батарея бутылок, из отверстых горлышек шел легкий дымок. У ребят слюнки текли. Все стали торопливо накладывать еду на тарелки.

«Ну, Задохлик, как успехи в спорте? — после долгой паузы, заполняемой усердным жеваньем, осведомился Висвальд. — Говорят, вчера ты с треском провалился на предварительных вузовских соревнованиях».

«Черт знает как оно вышло. Если бы не выдохся на первых попытках, диск ушел бы на тридцать шесть, а копье на пятьдесят, это точно. Но понимаешь, я накануне тренировался с легким, женским диском, вот руку и вытянул, на площадке скользкая трава, роса выпала, ну а с копьем — обмотка отставала, путалась между пальцев. Я думал, причина в мягком грунте, а на самом деле женский диск подвел».

«А в прыжках в высоту тоже что-то женское помешало?» — спросил Висвальд.

«Понимаешь, в первый раз сбился с шага, во второй попытке задел планку трусам, зато в третьей преодолел, и тут ее ветром сдуло. Погода была сырая, туман, мышцы одеревенели, а главное — в шиповках шипы чересчур длинные, вонзаются в землю так, что не отодрать. Вот и прыгай тут».

«Не говоря уже про дождь и град, бессонную ночь, подсуживание, кривой сантиметр, понос и отравление тухлой рыбой! — засмеялся Принц, а следом и остальные. — Нет, братец! Не диск у тебя женский, а фигура женская. Бедра чересчур широкие. Туловище длинное, ноги короткие, плечи покатые, бутылочкой, какой из тебя, Задохлик, спортсмен?»

Это было чересчур даже для верного оруженосца.

«Катись! — закричал он. — Молчал бы про спорт, сам не знаешь даже, где стадион находится».

«Чья бы корова мычала, а твоя мало молока дает. Не помнишь, что ли, как в прошлом году на пикнике под Райскумсом я без всякой подготовки метнул диск дальше тебя? Ты, правда, сослался на растяжение подмышек . . .»

«Да здравствует Принц! Сила, мощь, красота!» — послышалось отовсюду.

«А хуже всего, Задохлик, что ты троелюб».

«Троелюб? — раздались голоса. — Ха-ха, троелюб, как это — троелюб?».

«Честолюбив, корыстолюбив и женолюбив. Откуда же взяться любви к спорту?» Грохнул смех.

Спрукулис съежился и за весь вечер не сказал больше ни слова. А Принц не унимался. Он словно сорвался с цепи. Оставив в покое Спрукулиса, набросился на Жабье.

«Ну, как у тебя с экономической географией?»

«Эх, что там говорить!»

«Не беда. Для кого завал — удар по лбу, контузия, а для тебя — по заду, ускорение».

«Смейся, смейся, в следующем году я все равно закончу . . .»

«Учиться — да! Коммерческую академию — никогда!»

«Слушай, Клык, ты собирался бросить торговую науку, чем займешься?» — Висвальд обратился к статному златоносцу, маршалку на свадьбе сестры, выделявшемуся своими крупными, как у зайца, передними зубами. — Полелесорыбоводством?»

«Сельским хозяйством».

«Ах, значит, садовником будешь. Собачья жизнь, приятель. Весь век деревца поливать из лейки». И видя, что будущий садовник, судорожно ища ответ, ломает пальцы, съязвил:

«Руки-то чего прячешь, скрываешь чернозем под ногтями?»

Через мгновение:

«Шетурина, чем это вы так подавлены?»

«Бедностью», — пробурчал гувернер. Смесь коньяка с пивом с непривычки ударила в голову, пьяная грусть подступила к горлу.

«М-да. А вы призовите на помощь фантазию. Вообразите себя миллионером, который забыл дома кошелек и чековую книжку. Блуждающий взгляд Принца остановился на Эпалте.

«Человека подстерегают четыре напасти: бедность, прилежание, пьянство и девки; Шетурина погибнет от нищеты, Задохлик от усердия, Жабье от загула, а вы, Эпалт, от женского пола».

Эпалт вздрогнул. Принц попал в болевую точку. На мгновение показалось — насмешливый взгляд Висвальда пронзает его насквозь, до оголенной изболевшей души. Он содрогнулся. Висвальд угрожал похитить его единственное достояние — честь спорщика, златоуста.

«Вы забыли о пятой и самой страшной напасти — гибели за идеалы».

«Катись со своими идеалами, ты что — народный учитель?» — прокричал Клык.

«Не гони! — отрубил Эпалт. — Если старое поколение погибало за идеалы, нынешнее погибает из-за их отсутствия. Предрекаю этот конец Принцу. У него достанет сил, чтобы искать спасения, но он чересчур слаб, чтобы спастись от поисков».

Опьянение мешало Эпалту яснее выразить свою мысль, но этот флер сообщил ей глубокомысленность пророчества.

«Не жужжи, овод, — конь еще не сдох! — воскликнул Висвальд, потирая виски; Эпалт слегка затмил его своим красноречием. — Выпьем! Людей объединяют пороки!»

«Прозит, богатыри!»

... Затекали ноги, надо было размяться. Эпалт с Клыком неверной походкой взойшли на верхний этаж. Проплутав по лабиринтам увешанных групповыми фотографиями и гербами залов, комнат и коридоров, Эпалт внезапно обнаружил, что находится в фехтовальном классе. В шкафу матово поблескивали рапиры, лоснилась кожа громадных, на конском волосе, защитных перчаток; на скамеечках — брошенные как попало набивные нагрудники и маски с металлической сеткой. В углу просторного класса стояла странная фигура в форме металлической звезды с исколотыми промежутками между лучами. Эпалт надел перчатку, взял рапиру и встал в позу перед зеркалом. Здорово! Но тут к нему привязался Клык — сразимся, все равно острыми клинками или тупыми. Эпалт испугался. Хотя Клык едва держался на ногах, но, Господи обороны, мало ли рассказов об иссеченных подмышках, жутких шрамах на лице, фонтанах крови из перебитых артерий, достаточно даже исхлестанных тупой рапирой спин и плеч. С трудом Эпалт отвязался от дуэлянта и сбежал вниз. Ошибся дверь и очутился в чудном помещении, вроде стеклянного дворца, где стены отливали зеленым с алыми искорками; видно, вконец захмелел, подумал про себя Эпалт. Но приглядевшись, увидел, что это громоздятся штабелями уложенные горизонтально бутылки водки с красными головками. Посредине, высотой с человека, сверкала пирамида опорожненной посуды, противоположная стена являла собой черную скалу, сложенную из ящиков с пивом, к потолку был подвешен, в качестве идола и символа, вделанный в толстый бревенчатый держак штопор, такой громадный, что им легко можно было откупорить бутылку Пантагрюэля.

Незачем тревожиться насчет припасов. Этот «бург» выдержит осаду более длительную, чем древняя Троя, и не оскудеет. Можно со спокойной душой возвращаться к столу.

У Висвальда внезапно переменялось настроение. Ласково обняв за плечи Задохлика и Жабье, он опустил на скамью и мечтательно произнес:

«Парни, кто верит в любовь?»

«Колбаской!» — послышался дружный хор.

«Не гони волну!» — буркнул Принц.

«Послушай, — проворчал Клык, — чего-чего, а дилетантских речей сопливого гимназиста мы от тебя не ожидали».

«Пока дилетант раскачается, мастер уже кончит . . . Ах ты, заячий клык, лесной зверек, — Принц ухватил приятеля за густой вихор, — весь ум в волосы ушел, сердце в пиве утопил. А ты, Жабье, что ты скажешь о любви?»

«Не мой конь, не мой воз», — промычал Жабье.

«Сам ты кляча без телеги, друг ситный».

Висвальд присел рядом с домашним учителем, обняв его:

«Вот Шетуринь добрая душа. Только пуглив ты больно, братец, таким манером к девочкам не подступись».

«Из того, как мужчина обращается с мужчинами, отнюдь не вытекает, как он обходится с женщинами», — сказал Эпалт, опережая устыдившегося самого себя Шетуриня.

«Это касается наглецов и грубиянов, а кролики всегда кролики. Как им помочь . . . ну-ка, Павел Златоуст, дайте совет».

«Никогда не показывай девушке, что опасается конкурентов», — улыбнулся Эпалт.

«Что верно, то верно. Еще».

«Никогда не проси, если не уверен, что получишь».

«Тоже хорошо. Дальше».

«Как раз это я всегда и делаю», — с грустью прошептал Шетуринь.

«Позабудь про первую любовь. Иначе уподобишься человеку, который, обойдя все торговые дома, покупает перчатки, предложенные первоначально соседским лавочником. Это говорит об отсутствии вкуса».

«А если первая любовь — она же и последняя?» — вскрикнул Шетуринь.

«Тогда вы всю жизнь будете ходить над пропастью, как лунатик, не приведи Господь окликнуть вас по имени!»

«Не верь ему, Шетуринь, иные забыли, как их зовут, окликай до второго пришествия, не услышат. Лучше выпей».

«А я и не верю», — пролепетал Шетуринь и сделал изрядный глоток.

Вскоре брага до того затуманила мозги пирующих, что какой-либо связный разговор стал невозможен. Все пытались перекричать друг друга, собеседника никто не слышал. Жабье и Клык препирались насчет того, кто из них раньше стал ходить в кабак.

«Я в пятнадцать начал», — с гордостью вымолвил Клык.

«Тоже мне! — расхохотался Жабье. — В восемь я знал все шинки не хуже, чем сегодня».

«Катись!» — загалдели кубезельцы.

«Погодь, погодь! Мой папаша про кабак говаривал так: пока до стойки не дорос, заходи, а сунешь нос — вон выходи. Это чтобы малец паче чаяния глупостям не научился. Вот с девяти лет меня в кабак больше и не пускали».

«Сила, мощь, красота!» — дивилась честная компания.

«Ах, черт, съел твердой колбасы — в животе стрельнуло».

«Какая наглость! Фуксы! Всем шницель по-венски, и помягче!» — приказал Висвальд.

Через минуту принесли один шницель — больше на кухне не нашлось.

«Что-о, кусок мяса на десятерых?!» — разозлился Висвальд и, подобно Александру Македонскому, выливавшему воду, если не хватало на всю армию, метнул шницель под потолок, где он, прилипнув, и остался, к вящему веселью публики.

«Сила! Мощь! Красота!»

Пир сошел с рельсов, воцарился хаос.

«Эй, Клык дергает черта за хвост!» — крикнул один из кубезельцев, указывая пальцем на будущего студента-аграрника, чей желудок возвращал лишнее.

«Ура! Первые осадки!» — воскликнул другой, показывая на двух храпунов, растянувшихся на скамейке.

«Дохлые они умершие трупы неживых мертвецов, а была бы у меня блондинка собака, был бы я бородач», — нес ахинею Жабье. Кто-то, узрев в зарешеченное подвальное окно полную луну, заблеял: «Уй, какая дыра прозрачная! Давай в нее залезем!»

Ратники легли где попало. Правда, некоторые исчезли. В подвале повисла странная тишина. Эпалт, хотя и всячески избегал тостов, чувствовал себя вконец одуревшим; с усилием опершись о стену и привалившись боком к спине Задохлика, шебуршившегося у стола, он выпрямился и глубоко и часто задышал. Вдруг он услышал всхлипывания Шетурия. Висвальд все еще не выпускал того из объятий.

«Э... хорошо вам, Вис... господин Висвальд... э... смеяться над нищим, над вечно проклятым нищим...»

«Нет же, Шетуринь, нет, виноват я, каюсь, но не на всякую шутку надо обижаться. Как-нибудь выбьетесь в люди, такой работающий человек, как вы... не горюйте».

«Нет, мне уж никогда не пробиться. Слышите: никогда! И не смейтесь надо мной. Отец ваш меня обирает, сын осмеивает. Нехорошо. Нехорошо!»

«Что за вздор: отец тебя обирает? Отец платит тебе жалованье, что бы ты без него делал?»

«Платит жалованье! Платит жалованье! Одной рукой дает, другой забирает. Все время векселя пишу. Да эти долги мне чтобы вернуть, десяти жизней не хватит, хоть надрывайся, как раб, хоть как».

«Векселя? Что еще за векселя?»

«Ну, векселечки, каждый день векселечки».

«Шут гороховый, что ты там можешь подписывать, у тебя же ни гроша за душой, по твоим векселям никто ничего не выдаст!»

«Правильно, господин Висвальд, шут гороховый, правильно. Ваш папочка говорит: пиши, шут пишет, папочка ручается и закладывает в банк, а сынок спускает в кабаках...»

«Говори яснее! — воскликнул Висвальд и, чувствуя недоброе, схватил Шетурия за плечи. — Какие векселя, на сколько?»

«Иэх, черт их всех знает... я уже и не гляжу, когда присылают на продление, подписываю — и с глаз долой... на всех гербовые марки не меньше пяти латов. Эх, да что там, выпьем!»

Шетуринь схватил первый попавшийся бокал и стал пить большими глотками.

«Не пей, несчастный, упьешься! Сколько таких векселей тебе придется подписывать?»

«С добрую пачечку, целый ворох. Пива! Пива!»

«И как долго это продолжается?»

«Э . . . да уж изрядно . . . и раньше бывало, то да се, разная мелочевка, но выкупали как-то, а после свадьбы барышни все пошло на остен! Конец, каюк! В тисках! А вдруг с папочкой что? Голяк я до скончания дней, сколько ни заработаю, всё до копейки отнимут, последний я оборванец, слышишь, Николина, — оборванец!»

Он скрежетал зубами, бил себя в грудь, всхрапывал, потом совершенно неподобающим и оскорбительным для «Кубезелии» образом заорал: «Фукс, пива!», привалился к столу и затих.

Напрасно тормозил его Висвальд. Шетуринь был в беспамятстве. Больше из него ничего не выжмешь, да и нужды в том нет. Капли пота катились по лицу Висвальда, дурман перепоя отступал, свинцовой тяжестью наливались члены, лоб горел, и все яснее вырисовывалась картина большой беды, семейного краха. Он окинул трезвым взглядом погребок: сморенные алкоголем, утомившиеся гости лежали вповалку где придется, скорчившись в три погибели возле столов, растянувшись на скамьях. В опасной близости от Шетуриня — так, что можно было расслышать малейший шепот, — храпел Задохлик, прижавшись щекой к залитой пивом столешнице. Висвальд резко приподнял его за подбородок. Лицо Задохлика болезненно перекопилось, он пробормотал что-то невнятное и снова рухнул на стол. — Спит. А если и слышал что-нибудь, то свой же человек, в сущности его, Висвальда, творение, а значит, безвреден. Будет молчать. Остается Эпалт. Накачался и сидит, прислонясь к стене; устремленный в пространство стекленеющий взгляд, пожалуй, все же осмысленный, нет, даже больше того — в глазах вспыхивают и с каждым мигмом все ярче разгораются злые огоньки. Висвальд — он уже почти протрезвел — встал и подошел к Эпалту вплотную.

«Ты слышал, о чем тут болтал Шетуринь?» — спросил он, забыв, что они на «вы». Эпалт пошевелил губами, звук запаздывал:

«Он . . . говорил . . . о векселях».

«О каких векселях?»

Эпалт долго молчал. Потом вымолвил:

«Бог знает. Я . . . в денежных вопросах не силен».

Висвальд отступился: и этот пьян. Ладно. Ушел в другой конец подвала и бухнулся на лавку.

Все ясно. Благосостояние Сургениеков построено на песке. На несуществующих капиталах бедолаги Шетуриня. Очевидно, отец надеялся с помощью какой-нибудь удачной комбинации поправить свои дела. Великий оптимист, добрый, вконец замученный человек! Он, верно, забыл, что сейчас не довоенное время, когда соперничество было слабым, а оборот — большим, и не бурные годы становления молодого государства, когда делец с именем, хорошей репутацией и старыми связями чуть ли не еженощно удваивал свое состояние. Теперь всюду жестокая конкуренция, да и суровые порядки — никакие сногшибательные спекуляции просто невозможны. И все же отец не хочет, чтобы дети хоть в чем-нибудь были обделены. Он даже не считает нужным их беспокоить. Только теперь до Висвальда дошел смысл того разговора в день свадьбы Гризли. Отец искал в нем опоры, а натолкнулся на бонвивана и пустельгу, который и слышать ничего не хотел. И тогда больше не было сказано ни единого слова — это ему, первенцу, главному наследнику и продолжателю дела, от него скрыли тяжкие заботы и тревоги. Стыд! Какой стыд! И вот, чтобы и впредь семья ни в чем не нуждалась, вела ве-

селую и безмятежную жизнь, отец . . . пустился в сомнительные операции. Разумеется, имя Сургениека достаточно хорошо известно и репутация у него безупречная, так что никому и в голову не приходило проверять имущественное положение тех лиц, за векселя которых он ручался и которые закладывал в банк, а если кто и догадывался кое о чем, то молчал. Подобные приемы вообще-то не редкость в финансовых кругах. Но — Шетурины! Уж если только и оставалось, что обратиться к Шетурию, то положение, должно быть, действительно серьезное. Висвальд уже давно почуял неладное. Он знал, что дом в Риге и Качкары обременены долгами, но все не было времени об этом как следует поразмыслить.

Слава Сургениеков не должна пройти! И часть забот он, Висвальд, обязан взвалить на свои плечи. Старший сын не имеет права пустить по миру сестер и брата, омрачить старость родителям. Молодечеству пришел конец. Пора принять на себя определенные обязательства. Он женится на Иресе. В конце концов, иных долг призывает на смерть, а его только на брачное ложе. Но — отныне вы увидите совершенно другого Висвальда. Мечта о Николине избыта. Ради нее он бы с легким сердцем оставил стезю прожигателя жизни, соблазнителя, богатого студента. Он беззаветно любил бы это маленькое светлое чудо, работал как одержимый, боролся, подставил бы плечо отцу, перенял дела и сделал всё, что в человеческих силах, чтобы Сургениеки стали первым, самым могущественным семейством во всей Латвии. Он и Николина — в своем роде герцоги, ко двору которых тянутся красота, ученость и просвещение. Висвальд и Николина, подобно династии Сфорца, входят в историю великими меценатами, поощряющими художества и науки. Сыновья и дочери Висвальда и Николины продолжают знатный род исполинов духа . . . Что ж, теперь — держитесь! Мечты разбиты, счастье недоступно, жизнь прахом. Отныне вы увидите хищного Висвальда, бражника, чревоугодника, сардонического насмешника. Думаете, он приткнется под золоченый бок к мегере Иресе? Да, свое дело он сделает: может, у них будет ребенок, какой-нибудь заморыш, а может, и нет; он спасет отца, обеспечит близких, но большего не требуйте. Слишком велика жертва, чтобы лишать себя последнего. Дед Висвальда был всем кутилам кутила, столь же известный в чужеземных портах, как и в родном заливе, отец в молодости тоже многое себе позволял, но сын — сын покажет всем, что значит буйствовать, жечь, взрывать, разносить на куски неудавшуюся жизнь, в которой нет отныне никакого смысла. Добро же. Его имя не будут произносить с почтением? Ну так с изумлением и ужасом. Буйный Висвальд — пусть это станет его прозвищем!

Решимость, гнев и боль — чудовищная смесь вскипала в возбужденном алкоголем мозгу. В какой-то миг он почувствовал странное наслаждение — он наслаждался глубиной своего отчаяния, безутешностью горя, собственной погибелью. Он вскочил на ноги. Решено! И не откладывать на завтра! Уже восемь, старик Мэйор давно на службе, в конторе. Туда, туда без промедления, раз-два — и все улажено. Друзья недаром завидовали Висвальду, его предприимчивости и твердости, способности мгновенно сделать выбор и никогда не сожалеть о нем. Он и сам гордился этим. Скольких девушек ослепила эта его безоглядность? Сколько ревнивых женихов и мужей одурачено? Пора пустить в ход это оружие ради стоящего дела. Через час все будет в порядке. В половине десятого он обо всем объявит отцу. Благодарность? Это лишнее.

Велев вызвать парикмахера, он поспешил в умывальную, встал под

обжигающий ледяной душ; хмель окончательно вышел. Наскоро оделся, еще раз окинул взглядом товарищей по пирушке и захлопнул за собой дверь.

Едва он исчез за дверью, Задохлик сорвался с места. Лицо бледное и опухшее, глаза воспаленные, волосы свалывшиеся, костюм помятый и в пятнах. Кое-как приведя себя в порядок, он проворно выскочил следом за Висвальдом.

Пока Задохлик собирался, Эпалт сидел не шелохнувшись, затем как ни в чем не бывало последовал за ним.

Уронив голову на стол, разинув рот, раскинув руки, в позе распятия спал Шетуринь — и невдомек ему было, какую адскую кашу он заварил.

*

Рабочий кабинет консула Мэйора состоял из двух комнат. Одна — просторная, по-современному, даже чересчур современно, обставленная, с огромным, сколоченным без затей, но сверкающим полировкой письменным столом, на котором громоздились телефоны и куда были вделаны кнопки звонков и микрофон, — использовалась в основном для совещаний, заключения договоров и тому подобных дел. К большому столу с двух сторон были приставлены столики для машинисток. Невдалеке стояли два громадных кожаных кресла, подальше, у стены, диван и еще ряд кресел. На стенах, обшитых дубовыми панелями, висели фотографии государственных деятелей Латвии, гербы и портреты президентов Никарагуа и Либерии.

В другой комнате, поменьше, возвышалась старая конторка. Она была куплена еще дедом Мэйора, когда он, оставив хлопотный промысел бродячего скупщика быков и баранов, обосновался в Риге и открыл магазин по продаже кож. За этой конторкой простоял всю жизнь отец консула, положивший начало весьма доходной в те времена торговле колониальными товарами; охотнее всего работал здесь и сам консул. В малый кабинет никого не велено было впускать, за исключением ближайших помощников, а посетителей принимали в большой комнате, так как Мэйор пуще всего на свете боялся, чтобы его не сочли старомодным или, еще хуже, ретроградом.

Чем старше консул становился, тем чаще, стоя за конторкой, вспоминал стоявших за нею когда-то предков, и больно жгло сознание того, что он последний из рода Мэйоров на этом посту. Вилибальд, адоптированный племянник, которому фамилию Подниекс сменили на фамилию Мэйор, лишь бы только не сгинуло славное родовое имя, ничуть не походил на дельца. Когда он унаследует все состояние, то старую конторку, верно, выкинет за ненадобностью на чердак, за модный письменный стол усадит какого-нибудь вороватого приказчика, а сам будет разъезжать в спортивном авто, ловить на леску с мушкой форель и играть в теннис.

Почему он не позаботился о наследнике, хотя бы и внебрачном? Уж как-нибудь сумел бы оставить за ним львиную долю наследства. Удивительно — столько женщин у него было, столько походов, и все прошло без сучка и задоринки — как и карьера по торговой части, направляемая верной рукой мастера. Странно: оказывается, не всегда святая и ловкость, и изворотливость, эта мастерская хватка, которой он так гордился. О Боже, зачем ты лишил меня права на ошибки молодости?

А если бы Николина приняла его предложения? Он бы к тому же видоизменил их — в ее задачу входило бы не только выполнение сек-

ретарских обязанностей и кое-какие услуги частного порядка, но и великая миссия — спасение рода Мэйоров; коли так — увидел бы он подрастающим своего наследника или нет? Ему пятьдесят восемь, но он молодо выглядит и вполне еще свеж. Все дают ему сорок . . . ну да, это сотрудники, должники, и все же . . . При первой возможности он бы развелся. Даже развелся! Раньше он опасался, что развод может ему повредить, женина родня — заносчивые и состоятельные немецкие купцы — ему отомстит. Теперь-то их богатство, равно как и влияние, развеяно в пыль, но оформлять развод уже поздно.

Вряд ли кто узнал бы в это серое весеннее утро стройного консула в сгорбленном старике, который, сжав виски ладонями, уставился невидящим взглядом на ворох бумаг и корреспонденции, уже без малого час назад принесенной секретарем.

Секретарь вновь неслышно вошел в кабинет и молча положил поверх писем визитную карточку:

Висвальд Сургениек
Stud. oec.
Kubezelus

Консул не шелохнулся, но глаза его вспыхнули огнем. Что это значит? Этот башибузук, по всей видимости, явился с условиями, требованиями, а может, и оскорблениями, чего он, консул, не потерпит! Чем это кончится? Публичным скандалом, вызовом? Дуэлью: консул Мэйор против студента Сургениека? Смешно. Но в глубине души Мэйор пожалел о невозможности поединка. Неплохо бы всадить пулю в лоб этому высокомерному, молодому, да, молодому нахалу!

Консул прошел в большой кабинет. Сдвинул один из фотопортретов на стене, обнажив нечто вроде вентиляционной решетки. Окошечко в приемную. В торговых делах нередко приходится незаметно подсматривать за противником, это приносит пользу. Вот он прогуливается в передней, красавчик Висвальд, элегантен, самонадеян, спокоен, как всегда. Удивительно спокоен. Консул почувствовал укол зависти: он, матерый, закаленный мужик, нервничал, а мальчишка-сопляк крутился в прихожей с таким выражением лица, словно это сборщик налогов явился взыскивать долг.

Консул сел за стол и нажал кнопку. Через мгновение в комнату легкой и непринужденной походкой вошел Висвальд. Несколько церемонно поклонившись, он с вежливой, нет, слегка иронической улыбкой протянул консулу через стол длинную ладонь с тонкими пальцами. «Здравствуйте, господин консул, как поживаете? С самого утра на ногах».

«Как и вы, как и вы».

«Ну, у нас, студентов, это порой бывает, и не только потому, что работа ждет».

«Итак, чем могу служить?»

Визитер с едва уловимой усмешкой вперился в консула; внезапно на губах Висвальда расцвела очаровательная, сердечная, волшебная улыбка. Точь-в-точь старый Сургениек в молодости, подумал консул, только у отца не было этого пикантного сыновьего зазнайства. Висвальд огляделся, как бы в поисках подходящих слов, затем, будто махнув рукой на все светское красноречие, выпалил: «Я прошу руки вашей дочери, господин консул».

Мэйор вздрогнул. Так вот они, плоды вчерашней стычки. Неужто одумался? На свадьбе Гризельды старый Сургениек тяжело оскорбил Мэйоров, не объявив о помолвке, и в дальнейшем тоже делал хоро-

шую мину при плохой игре. Но Мэйор никогда ничего не забывает. Мысль о мщении возникает в нем сразу, как только он чувствует нанесенную обиду. И если Сургениеку до сих пор все сходило с рук, то лишь потому, что не подворачивался подходящий случай. Ерундовых неприятностей и препон Мэйор мог устроить сколько угодно, но мелкая месть подобает арендатору или подчиненному. В нашей стране взаимные обязательства финансовых тузов сплетены в такой тугой узел, что разящего меча долго ждать не приходится. Консула давно точила зависть к счастливому семейству Сургениеков, а в старости, когда уже нет сил строить, почему бы не начать ломать чужое, себе на потеху, отчего не ввязаться в бой, если позволяют мускулы? Кое-что он уже обмозговал, а тут, нате вам, Сургениеки запросили мировую. Согласие или вражда?

Гм... Ирисе пора определиться. Она любит Висвальда, об этом вся Рига знает. Но не это сейчас главное. Вопрос в другом: дать ли счастливым Сургениекам почувствовать вкус еще одной победы, нового счастья? Слишком уж они прыткие, хотят — отвергают, хотят — берут. Консул Мэйор — он, что же, у них на побегушках? На худых щеках вздулись желваки, он выпрямился, с губ уже готов был сорваться суровый отказ, но — на том конце стола спокойно и невозмутимо сидел Висвальд, рассеянно, с одному ему присущей мужской грацией поигрывая шляпой и перчатками. И молчал, как и положено человеку, из вежливости дающему партнеру время на обдумывание, хотя и совершенно уверенному в благоприятном исходе дела, уверенному настолько, что можно подумать о чем-то другом, о будущем.

При взгляде на этого самоуверенного смазливого парня раздражение и злоба вновь вскипели в хозяине кабинета, но внезапно консул со страхом поймал себя на мысли — как жаль, что Висвальд не его сын! Не молодость ли самого консула восседает напротив него? Вмиг ожила в памяти сценка: он, юный Феликс Мэйор, тридцать четыре года назад в крошечной, заставленной мебелью конторе крупного торговца аптекарскими товарами Борхерта, и так же беззаботно усмехается, и так же вертит на пальце модную тогда соломенную шляпу и ждет — ждет, пока погруженный в раздумье, тучный, очкастый, с жесткой щеточкой усов, окутанный табачным дымом немец соизволит дать ответ. Все козыри в руках жениха. В соседней комнате страдающая малокровием Эберхардина льет слезы в три ручья, она любит бравого Феликса, в него невозможно не влюбиться. Богат, ловок, учен, много путешествовал, зять отменный, и только высокомерие немецкого патриция не позволяет старому рижанину Борхерту без проволочек вручить и свою единственную дочь, и свое обширное предприятие латышу.

Упрямый немец тогда сдался. Консул понял, что и он вот-вот уступит напору. Висвальд считает меня старым козлом, каким я в свое время считал Борхерта. Что поделаешь. Молодым принадлежит мир. Он глубоко вздохнул и мысленно стал составлять словесную формулу вежливого согласия, но тут резко и режущая затрещал телефон. Мэйор, брюзгливо поморщившись, снял трубку:

«Консул Мэйор».

Неужели то, что он слышит, могло быть правдой? Навет! Безумие! Он вызвал звонком секретаря и написал несколько строчек в блокноте. Секретарь кивнул и удалился. В трубке всё говорили и говорили. Лицо консула приобрело твердое и жесткое выражение, необычайно твердое и жесткое. Человек на том конце стола не богач Висвальд Сургениек, а нищий! Хуже нищего — банкрот, увязший в долгах.

Ему бы просить о милости стоя на коленях, валяться у Майора в ногах, а он с бесстыдством промотавшегося графа сватается к консульской дочери, рассчитывая на ее имущество, хотя не имеет даже жалкого титула, чтобы прикрыть свои лохмотья. Консул еле сдерживался, он испытывал жгучий стыд за свою минутную слабость, сентиментальные нюни: пожалел, что Висвальд, этот хлыщ и пройдоха, не его сын!

Спустя какое-то время секретарь торжественно положил перед консулом несколько бумаг — справку о личности Шетурина и выданных им с ручательством Сургениека векселях, большая часть которых была заложена в различных финансовых учреждениях, где Майор числился акционером. Секретарь знал свое дело, а имя консула открывало все двери: десять телефонных разговоров в течение десяти минут прояснили все. Сомнений не оставалось. Консул отпустил секретаря и встал.

Ничего не подозревающий Висвальд тоже поднялся, но стоило ему посмотреть консулу в глаза, как холод сковал его с головы до пят: так на него еще никто не смотрел. Впервые читал он в глазах собеседника откровенное презрение.

«Господин Сургениек! — заговорил консул, хотя и глуховатым голосом, но сухо и деловито. — Мой вам ответ — нет. Вы понимаете, конечно, что ни один разумный человек, какими бы свободными средствами он ни располагал, никогда не возьмет на себя бремя уплаты долгов, какое вы, и очевидно также ваш отец, пытаетесь на меня взвалить. Я не имею права повесить на шею собственной дочери вериги. Вам же мой совет: откажитесь от наследства и попытайтесь пробиваться в одиночку. Но в таком случае должен сказать, что таких мальчиков, как вы, вокруг пруд пруди, а ввиду известных обстоятельств, которых вы сами изволили недавно коснуться, не вас я выберу в зятя, увы, не вас».

Висвальд не дослушал, он сделался весь белый, нет — зеленый, круто повернулся и выскочил вон.

«Висвальд, милый», — прозвучало в дверях, и Ириса бросилась ему на шею: услужливый секретарь, поняв, что речь идет о сватовстве, поспешил сообщить ей приятную новость.

Висвальда перекосило. Лицо его было ужасно, лицо безумца. Схватив Ирису за руки, он оторвал ее от себя и, с силой оттолкнув испугавшуюся женщину, опрометью бросился в коридор.

Перепуганная до смерти, смотрела она как очумелая на свои руки, где пальцы Висвальда оставили по четыре красные полосы на запястьях, медленно синевшие, и не понимала ни слова из того, что толковал ей отец, только чувствовала — случилось нечто ужасное, Висвальд потерян для нее навсегда.

Секретарь доложил о посетителе.

«Вот, Ириса, человек, который спас тебя от беды», — сказал консул.

Ириса оглянулась, истерически засмеялась и забилась в слезах и судорогах. С нею случился нервный припадок, первый большой припадок в ее жизни.

Висвальд помчался в банк к отцу. Там, по-видимому, никто еще ничего не знал. Все прилежно трудились, как всегда. В прохладном помещении слышался приятный успокаивающий шелест. Висвальд ворвался в кабинет директора. Тут дела обстояли хуже. Собрались

старший бухгалтер, прокуристы. Но что это за обмякший, как лопнувший шар, седовласый старец, который, скорчившись в три погибели, торчит в директорском кресле? Такой тучный, такой громадный и такой осунувшийся? На широком лице все линии и формы, всё как бы опустилось, провисло, начиная с мешков под глазами и кончая огромными пустыми карманами мясистых щек. Неужели эта развалина и есть его отец?

«Ты уже знаешь, Висвальд?» — невнятно прошамкал он мерзлыми, неслышными губами. Присутствующие тактично отступили к дверям.

«Весенние ветры для нас, Сургениевков, роковые. Вот и твой дед утонул весной . . . Тебе, Висвальд, опять придется все начинать с начала . . . Проклятье, — он поднял голову, в глазах блеснули слезы, — еще бы неделю-другую, и самое худшее было бы для нас позади. Как ему удалось пронюхать? Какой бес надушил его шпионить за Шетурином? Теперь все, вслед за Майором, откажут нам в кредитах».

Висвальд стоял перед отцом в растерянности. У него кружилась голова, его тошнило, — сказывалась загульная ночь. Он прикрыл глаза. Пол под ним шатался. Все было как в бреду.

«Ступай, сынок, я еще попробую что-то предпринять. Если они меня утопят — ничего не получат. Если позволят работать — я постепенно все выплачу. Иди домой. Пока не говори ничего. Сообщить дурные вести всегда успеешь».

Не возразив ни слова, Висвальд вышел из кабинета. В главном зале служащие снова почтительно с ним раскланивались. Здесь еще никто не догадывался о том, что большой организм банка с могучими легкими, сердцем и почками, текущими счетами, кассами, вексельными дисконтами, бухгалтерами, кассирами, архивариусами, машинистками, в сущности, уже мертв.

*

Настал вечер. В дальнем кабаке на форштадте Висвальд, скрываясь от любопытных глаз, пил напропалую, но не пьянел, а только чувствовал нарастающее оупение. Невыносимая, неотступно зудящая, как злая болячка, мысль сверлила мозг: беден, беден, он теперь так же беден, как Шетуринь, как Задохлик, как Эпалт, как предатель Эпалт. Но до него он еще доберется!

Надо работать. Подыскивать место. Со связями в «Кубезелии» как-нибудь выкрутимся . . . Но — как покажешься на глаза приятелям? Он — Принц, первый, самый блестящий из всех, теперь будет вынужден вести унижительное, скромное существование. Единственное, что у него осталось, — Николина. Они поженятся. Ее любовь искупит многие обиды и скорби . . . но не все. Что Николина пойдет за него, что Николина любит его, что Николина не может не любить его, это само собой разумеется. Он ведь все еще Красавчик Висвальд, элегантный Принц Уэльский, и не одна состоятельная мамаша, имеющая дочь на выданье, умерла бы от счастья, сделай он предложение . . . Он надулся и, пошатываясь, горделиво выпрямился во весь рост, держась за буфетную стойку. Да, это покамест еще прежний Принц, лучше прежнего, так как закален в жизненных бурях. Внезапно ему стало нестерпимо, ужасно жаль себя. Усталость и огромное количество выпитого стали одолевать его, слезы наворачивались на глаза, безумно захотелось ласки, сочувственного слова. Вскочив на извозчика, он поехал домой.

*

Дома царила разительная, странная, какая-то жуткая тишина. Войдя в зал, он заковылял шаркая к кабинету. Двери кабинета распахнулись, оказалась Николина.

«Ах, Николина. Это ты, малышка, не ершись, чего уж там, иди сюда, все будет хорошо».

Он шагнул ей навстречу, потерял равновесие и повис у нее на шее.

Глаза Николины вспыхнули от возмущения, словно она стала свидетельницей страшной хулы и святотатства. Вырываясь из объятий, она отшвырнула от себя руки Висвальда, как что-то скользкое и мерзкое.

«Прочь! — прошептала Николина с болью в голосе. — Ваш отец умер».

Оглушенный, Висвальд покачиваясь зашел в кабинет и увидел неуклюже застрявшее в рабочем кресле за письменным столом огромное, разбитое ударом, тело отца. Возле него стояли мать и Гризельда.

Уже второй раз за сегодняшний день Висвальду показалось, что к нему возвращается жизнь. Бедный добрый отец! Яркие сполохи снова с беспощадной резкостью высветили семейное горе. И еще какое-то жуткое щемящее чувство, силу которого и причину он до конца не понимал, поднималось в нем, давило, жгло. Он все еще видел отвращение и негодование в нежных глазах Николины. Жалость к себе, обида и отчаянье схлестнулись в душе Висвальда с невероятной силой. Крик рвался наружу, и он закричал:

«Мечь!»

Это слово помогло собрать воедино остатки душевных сил. Охваченный страшным гневом, он вбежал в свою комнату и рывком вытащил из письменного стола револьвер.

В этот миг Дагне повисла у него на руке:

«Ты что задумал?»

«Убью Эпалта, как собаку, он предал нас!» — вскричал Висвальд и, оттолкнув сестру, полез в ящик стола за патронами.

Дагне выбежала в прихожую и, схватив первое попавшееся пальто, выскочила на улицу.

*

До закрытия библиотеки оставалось совсем немного. Эпалт, после бурной ночи продремавший кое-как весь рабочий день, лениво собирался домой, когда из читального зала вдруг донесся знакомый голос, что-то взволнованно и упорно толковавший библиотекарям.

Боже праведный! Он стиснул зубы. Дагне! Дагне в своих преследованиях дошла уже и до места его службы. Он и подумать не успел, куда бы спрятаться, как в книжную вбежала мадемуазель Сургениек, без шляпки, в чужом пальто . . . Библиотечные кумушки, хихикая, нарочито медленно притворили дверь с той стороны. Проклятье!

«Бегите, Павел, бегите!» — задыхаясь, проговорила Дагне.

«Присаживайтесь, барышня Сургениек, чем могу служить?» — произнес Эпалт таким ледяным тоном, что Дагне, упав на стул, долго смотрела на него расширенными глазами, которые постепенно загорались ненавистью.

«Я бы сама вас убила!» — прошипела она с такой яростной и горячей злобой, что Эпалт остолбенел. Отвернув от него лицо, она прижала к глазам платочек. Когда она вновь повернулась к Эпалту, на ее лице было написано только одно мучение и больше ничего.

«Мой брат разыскивает вас; он хочет вас застрелить. Вы разгласили деловые секреты отца . . . и отец умер. Вы должны бежать».

Всхлипывая, она ломала руки и, молитвенно раскачиваясь, едва не касалась лбом коленей.

Жалость подступила к горлу. Бедная женщина, что она говорит. Отец умер? Деловые секреты? Застрелить? Обняв Дагне, которая прижалась к нему всем телом и зарыдала, он вдруг все понял: кто-то выдал тайну векселей Шетурина, и катастрофа, которой так боялся домашний учитель, стряслась. Но почему подозрение падает на него?

Почти на руках пронеся Дагне через все библиотечные помещения, мимо выстроившихся шпалерами любопытных сотрудниц, которые, видимо, в ожидании исхода необычного визита, долго копошились в гардеробной, Эпалт подозвал такси и приказал ехать к Сургениекам.

Он отправлялся прямо в логово, откуда исходила опасность. Разумнее было бы скрыться, пока у шального Висвальда не пройдет горячка, замешанная на отчаянье и злобе. Свою невиновность можно доказать и потом. Но куда девать Дагне, которая в полубессознательном состоянии лежит у него на руках, думая, что они оба поддаются в бега? И Принца ли бояться, самого настырного и опасного соперника? Заносчивого барчука Принца? Самолюбие ему этого не позволяло. И в конце концов, может, это рок призывает его под дуло пистолета. Он падет там, где впервые увидел Николину. И это будет самый лучший и прекраснейший конец всей его порушенной жизни. Всё одно! Он встретится с Висвальдом с глаза на глаз, и медленно.

*

Как только Дагне помчалась на поиски Эпалта, к Сургениекам вбежал Жабье. В дверях он столкнулся с Висвальдом. «Принц, — зашептал он, — ты знаешь, ты знаешь, кто тебя предал? Задохлик. Ириса только что звонила в “Кубезелию”».

Висвальд обмяк, плечи опустились, руки повисли как плети, шея подалась вперед, всегда четкие, тонкие черты лица странно одрябли.

«Наш», — выдохнул он, шаря вокруг безмерно усталым и рассеянным взглядом.

«Наш . . . Все кончено. Я нищий; друг, которого я сотворил из ничего вот этими руками, тащил за собой, меня предал, и даже она . . . Гнусный мир!»

Он круто повернулся на каблуках и направился в свою комнату такой бесплотной и деревянной походкой, что Жабье вконец разволновался и бросился за ним. Но ключ повернулся в замке. В квартире повисла гулкая тишина. Все вслушивались в нее, замерев. Только старая госпожа, погруженная в глубокую апатию, дремала в углу на софе и что-то бормотала про себя.

Раздался выстрел. Потом еще четыре. Жабье ухватил стул и вышиб им дверь. Висвальд, уронив голову на стол, усыпанный осколками стекла, сидел неподвижно. Жабье прислонился к косяку. За ним в дверном проеме столпилась кучка кубезельцев, прослышавших о несчастье с приятелем и поспешивших к нему в дом.

Но что это? Прерывистое дыхание, всхлипыванья? Висвальд плакал. Словно хотел выплакать весь свой гнев, боль, отчаянье и хмель.

Над письменным столом висел большой застекленный снимок в роскошной раме: группа живописно расположившихся кубезельцев, в шапочках, с рапирами, с улыбками на радостных лицах. Стекло разлетелось, а вместо одной из фигур, рядом с Принцем, зияла черная дыра. Наставить оружие на себя у Висвальда духу не хватило, и он расстрелял предателя.

Друзья тихо обступили горемыку. Жабье, помотав головой, остановил Гризельду, которая готова была ринуться на помощь к брату.

«Дружище, — с чувством проговорил Жабье, — пусть даже все рухнет и пойдет прахом, мы по-прежнему будем с тобой, мы, твои друзья, «Кубезелия», которая будет стоять за тебя горой и помогать тебе во всем. Да здравствует «Кубезелия»!»

«Да здравствует «Кубезелия»! — воскликнули собравшиеся. — За отечество, содружество и воздержание!»

«Выше голову, Висвальд, — продолжал Жабье, — ты теперь глава семьи, будь мужчиной, на тебе теперь все дела, — ты же видишь, женщины совершенно беспомощны. А Задохлик, — он потряс кулаками, — мы ему покажем!»

Висвальд уже почти отошел. Опершись о стол, он долго смотрел на друзей. Чего-то не доставало в выражении его лица, которое заметно постарело, но странным образом стало походить на гораздо более некрасивое лицо младшего брата. Обжигающий высокомерный взгляд из-под мохнатых черных бровей потускнел и клонился долу, как отяжелевшая под дождем полевица.

«Оставьте его в покое. Не говорите ему ничего. Пускай делает что хочет. Сколько народу в «Кубезелии» знает о его . . . о том, что он предупредил Майора?»

«Мы шестеро», — ответил Жабье.

«Больше никто?»

«Пока нет».

«Пусть это останется между нами. Поняли? Если слушок пойдет дальше помимо «Кубезелии», ладно, но от нас ничего не должно исходить. Другим тоже ни слова. Обещайте».

Кубезельцы ошеломленно переглядывались.

«У меня со Спрукулисом свои счеты».

«Он же негодяй! И ты столько хорошего для него сделал», — слышались голоса.

«Но он больше всего натерпелся от меня. Вы, может, этого и не знаете. Все равно. Я так хочу. Я прошу вас».

И кубезельцы, качая головами, обещали наконец хранить страшную тайну.

Одновременно с Эпалтом и Дагне к дому Сургениеков подъехал полицейский автомобиль. Эпалт усмехнулся. — Ничего, судьба меня бережет, видимо, умирать не придется; очевидно, у нее для меня припасена еще более злая и жалкая шутка. Ладно же. Великолепная, мелодраматическая стычка не состоится.

Очутившись в зале, они сразу же увидели Висвальда в кольце приятелей. Заметив Эпалта, принявшего боевую стойку, он посмотрел на него с недоумением, но потом взгляд его остановился на Дагне, и он все вспомнил.

«А, господин Эпалт, это вы! Дагне, верно, наговорила вам с три короба. Это недоразумение, извините», — и, рассеянно улыбнувшись, прежде чем Эпалт сумел выразить свое соболезнование или хотя бы даже просто поздороваться, он повернулся к чиновнику криминальной полиции, который в этот момент в сопровождении нескольких стражей порядка входил в зал.

«Здесь живет Цезарь Шетурина?» — произнес чиновник громко и почему-то взволнованно. Глаза-пешки бегали и вращались, он ощупывал взглядом все углы.

Бледный, съжившийся, как береста, Шетурина выкарабкался из

кресла под пальмой. Только теперь Эпалт заметил, что рядом с ним сидела Николина.

«Вы арестованы! Вы обвиняетесь в разращении молодежи и подстрекательстве против существующего строя».

Шетуринь сделал два-три неверных шага назад. Изумление, ужас и испуг отразились на его круглой физиономии.

«Э . . . э . . . э . . .» — заикался он в совершенном смятении. Самые дикие и нелепые гримасы сменялись на его лице. Полицейские ухватили его за локти и чуть ли не силком вывели из зала. Повернув голову к остающимся, он отчаянно захлопал глазами и забормotal: «Николина . . . Николина . . . я не знаю . . . я ничего не понимаю».

Собравшиеся стали расходиться один за другим. Велико было смятение, но и дел невпроворот. Эпалт очутился наедине с Николиной.

Человеческие страдания, свидетелем которых он только что стал, пережитый смертный страх и решимость вытерпеть всё как бы очистили его душу, смыв с нее то наносное и искусственное, что порождалось привычной позой циника, двусмысленным положением в доме Сургениеков и этим несчастным желанием выделяться, блистать на общем фоне, поражать окружающих любой ценой. С необыкновенной ясностью осознал он сейчас свою боль, одиночество, любовь и готовность ради этой любви всё вынести и всё поставить на карту. Впервые, впервые с самого детства, он опять был свободен и не испытывал ни малейшего желания притворяться, комбинировать и строить расчеты. Никогда уже не быть ему прежним Златоустом; за эти месяцы, за этот день он переменялся, повзрослел, иначе, глубже, эмоциональнее воспринимал жизнь — и когда он это понял, странный трепет обуял его. Он избыл шутовство, исполнился благоговения, теперь он был способен все объяснить, все сказать, наконец-то подойти к Николине без ужимок и недомолвок, как человек к человеку, давно следовало это сделать, на свадьбе Гризли, нет, раньше, намного раньше. При взгляде на обомлевшую, съезжившуюся в комок девушку сочувствие и нежность затопили душу: о Господи, дозвожь же мне заботиться о ней и оберегать ее!

«Николина», — сказал он, сев с нею рядом и слегка коснувшись маленькой белой руки. В первый раз он не думал о том, какую принять позу, что написано у него на лице и как звучит его голос.

«Простите, что сегодня, когда в этом доме произошло такое, я осмеливаюсь напоминать вам о себе. Мне представляется . . . мне кажется, я часто вел себя странно, даже нелепо. Но я хотел по-другому . . . я лучше хотел . . . всегда . . . но все никак не мог сказать вам, чего хочу, что чувствую . . . не умел. Безумный мавр Зегбугу, лохматый пес, которого вы отдали Шетуриню, это я сам, всё, что они говорят, я говорю вам сейчас и даже больше . . .»

Дверь кабинета неслышно отворилась, какое-то адское предчувствие подсказывало Эпалту, что это Дагне. Страдая от боли и ревности, она застыла в дверях и в упор смотрела на Эпалта. Он ощущает невыносимую тяжесть этого жаркого взгляда и более не способен вымолвить ни слова. Кажется, само небо смыкается над ним. Сердце замирает.

Николина тоже замечает Дагне. Глаза, которые только что покойно и ласково смотрели на Эпалта, так ласково, как никогда, медленно расширяются. Ледяной душ окатывает Эпалта, он читает в этих посуровевших глазах, что Николина видит и понимает чувства Дагне, не забыла все те мгновения, когда Эпалт был вместе с Дагне, помнит, как недавно, всего полчаса назад, он ввел ее в полубоморочном

состоянии в этот зал, взвешивает подозрения и вершит суд. Нежный взгляд в одну минуту, чудовищную минуту, пробегает все ступени превращения — ласка, сомнения, опасения, страх, презрение, и вдруг Эпалт видит эти глаза такими же, как в первое свое посещение сургениевского дома: темные, глубокие и суровые, они нацелены на него, словно оружейные дула, — будто он редкий, но опасный зверь.

Николина медленно поднимается с места.

«Господин Эпалт, — говорит она тихо-тихо, — оглянитесь и вы увидите человека, который вправе вас сейчас презирать и ненавидеть, но который ждет вас. Ступайте! И не возвращайтесь больше никогда!»

Эпалт вздрагивает. Вот стоят две женщины — та, за которую он боролся, и та, от которой бежал, и обе понимают его превратно. Его душит желание бросить в лицо Дагне голую и жуткую правду — о том, что он ненавидит ее, что она злой гений, приносящий ему несчастье, но бедная женщина так измучена, так убита горем. Как нанести еще и этот удар, последний укол милосердия? И однако! Кто пожалеет его? Нет, он не станет ее щадить! Но — внезапно Николина подходит к Дагне и ласково обнимает ее за плечи, как бы охраняя от беды . . .

Эпалт опрометью выскочил из дома Сургениевых, словно там занялся пожар.

Перебежав через улицу, он оглянулся. Огромное шафранно-желтое, подсвеченное закатом облако виднелось на фоне громадного здания. Желтый, неприятный, дрожащий свет пятнал ожившие барельефы, скульптуры, лепнину, изваяния, которыми кишмя кишел фасад. Две голые кариатиды, протягивая руки, грозили и обвиняли. Грузные львы, по-собачьи подняв хвосты, разгуливали, словно призраки, по краю карниза, как бы в поисках низкого места, откуда легче прыгнуть вниз. И все эти ширококоротые трагические и насмешливо-комические маски, морды львов, разинувших пасть в патетическом рыке, черепа винторогох баранов, все эти совы и веерохвостые павлины ухмылялись и подмигивали, похохатывали и делали непристойные жесты, а воинственные амазонки с непроницаемо-надменными лицами бесстыже пялились на них пустыми гипсовыми глазницами. Кот в сапогах, держащий в когтистых лапах гербовый щит, скорчил дьявольскую гримасу — эта усатая рожа сам Имперский Маг, мчавшийся впереди своей семьи, распугивая встречаемых, и мечтавший посадить на императорский трон своего отца, а в министерское кресло — брата . . . Исчадие ада, дом беды! — Внезапная тень пробежала по фасаду, казалось, стена покачнулась и вот-вот рухнет. — «Будь проклято это гнездо!» — воскликнул Эпалт и, задыхаясь, кинулся прочь, словно бежал от бесовского роя кирпичных и каменных морд.

Наутро первые полосы газет украсились шапками, одна другой крупнее:

Неожиданное падение банкирского дома «Сургениек и К^о».

Тысячи вкладчиков теряют свои сбережения.

Банкротство и смерть банкира.

Трагедия спекулянта.

Домашний учитель финансирует банкира.

Положить конец системе векселей по дружбе!

И так далее. Имя Сургениека склоняли во всех падежах и вариациях. О нем скорбели, его проклинали, но фактическое содержание статей было одинаковым: внезапно обнаружилось, что большое и влиятельное финансовое учреждение построено на песке, и оно рассыпалось в прах. Директор Сургениек, он же главный владелец, лишился всех своих заложенных и перезаложенных городских и сельских владений, стоимость которых оказалась не столь велика, как полагали, и не покрывала даже трети огромной недостачи. Колосс, еще вчера затенявший своей тучной фигурой едва ли не полнеба городских финансов, стоял, как выяснилось, на глиняных ногах и рухнул, разбившись вдребезги; отчаявшиеся вкладчики и кредиторы, изголодавшиеся доверенные лица, адвокаты, сборщики и инкассаторы накинулись на него, как муравьи, как могильщики, как мухи на падаль, но напрасно, и всё, что удалось им найти в прогнившем нутре огромного трупа, — это бумаги, бумаги, бумаги, не имеющие ни цены, ни покрытия, лишенные какого бы то ни было значения.

А Шетуринь? После Сургениека он был главной городской знаменитостью. Его примером пугали к месту и не к месту. Дурная популярность гувернера достигла пика, когда в одной из газет появилась статья «Дик и Дов»¹, снабженная соответствующими снимками, — большой директор и маленький Шетуринь, в полный рост.

Семья директора была в полном разоре: с высот богатства в болото бедности, из общественной элиты в полную безысходность. Некоторые газеты оплакивали членов этой семьи, другие давали странные и смешные советы и наставления, как бывшим богатым заработать себе на кусок хлеба.

Но затем в газетном вихре проступила могучая фигура: консул Никарагуа и Либерии Феликс Мэйор. Он реорганизовал капитал, реставрировал банк, который отныне назывался «Круглый лат», и гарантировал вкладчикам выплату половины понесенного ущерба. И, несмотря на, в этих условиях банк не только ожил, но и снова стал приносить прибыль. Во имя былой дружбы консул взял на себя попечение над семьей несчастного банкира. Он великодушно предложил старшим детям работу в том же возрожденном из пепла банке, обеспечил вдову квартирой и приличной пенсией и обязался дать образование последышу. Даже враги консула волей-неволей были принуждены аплодировать этому благородному жесту.

Только Висвальд и Гризли ни о чем таком и слышать не хотели. Милостыню из рук Мэйора, сквернавца, повинного в их горе! Никогда! Напрасно доверенные лица консула толковали, что Мэйор не заслуживает упрека; какой же финансист добровольно полезет в петлю и не откажет в кредитах прогнившему и разваливающемуся банку? И разве честный делец вправе смолчать, когда к нему поступают данные о столь широких и сомнительных сделках, как векселя Шетуринья? Напрасно они внушали, какое это благородное занятие — спасти банк Сургениека и как это возвышенно: пригласить к совместной работе его отпрысков. Сургениеки, брат и сестра, оставались непреклонными, кончилось тем, что они просто выставили людей консула за порог.

Мадам Сургениек, будучи в глубокой апатии, все же приняла помощь от Мэйора и тотчас перебралась в небольшую квартирку в од-

¹ Популярные американские актеры Стэн Лаурел и Оливер Харди, «большой» и «маленький». — Прим. переводчика.

ном из его домов, поскольку старые, роскошные сургениекские апартаменты перешли в чужие руки. Дагне последовала за матерью, так как не было никого, кто бы о той заботился. Принц Уэльский, которого друзья теперь остерегались называть Принцем из опасения причинить ему боль или напомнить о былом величии, поселился у Жабье, кубезельские связи открывали перед ним определенные, хотя и не блестящие, перспективы получения скромного места с умеренным жалованьем.

Как ни странно, именно Гризельде, которая, выйдя замуж за Душелю, покинула родительский дом, было труднее всего оставлять его вторично. Когда мать, сестра и брат уже съехали, она все еще сидела в просторной, уже не принадлежавшей Сургениекам квартире, где от былой роскоши и богатой буржуазной обстановки почти ничего не осталось. Снежные пейзажи Пурвита украшали витрины антикварных магазинов, как и серебро, фарфор и напольные ковры, и только пухлый гипсовый амурчик все еще летал под потолком, улыбаясь потускневшими губами и весело поигрывая облупившимися стрелами.

Последний вечер, перед тем как окончательно выехать из квартиры, Гризли почти все время находилась в зале, бывшем свидетелем стольких горестей и радостей ее первой, прекрасной молодости. За стеной слышался громкий стук — работали обойщики, вызванные новыми жильцами. Смеркалось.

«К вам посетитель», — сказал ей один из обойщиков.

Гризли пристально поглядела на вошедшего; определенно она его где-то видела, встречалась с ним, говорила. Плечистый мужчина среднего роста. Костюм очень солидный, в старомодном и корректном вкусе английского джентльмена, в вкусе Мэйора, правда кажется, что гость чувствует себя в нем неудобно. Жесты спокойные, уверенные, но несколько скованные и принужденные. Дорогая шляпа, замшевые перчатки и старомодная трость с массивным серебряным набалдашником — он словно не знает, куда их девать. Нетрудно догадаться, что по приходе домой этот человек сразу же переодевается, и не в элегантный домашний сюртук с оторочкой, а в жилетку поверх старых неглаженных брюк, отстегивает воротничок, аккуратно подворачивает рукава и принимается за прерванную было работу. Угловатые черты свинцово-серого лица выражали своеобычное угрюмое довольство, а тяжелый взгляд глубоко посаженных глаз придавливал все предметы, на которых соблаговолил остановиться. Внезапно у Гризли перехватило дыхание.

«Граф . . .» — беззвучно шевельнулись губы, но пришелец понял ее. Тонкий, как ножевая царапина, бескровный рот скривился в горькой усмешке; он поклонился рывком — словно клюнул — и произнес:

«Граф Нос де Сопляй, уважаемая госпожа».

«Хотите поиздеваться? Правильно, момент подходящий. Давайте, делайте свое дело и уходите».

Тюрзен не пошевелился.

«Мадам, не так давно мы с вами встречались в этом же зале, — сказал он, осмотревшись и задержавшись взглядом на облупившемся гипсовом амуре посреди потолка, — но, кажется, флирт, смех и шутки ушли отсюда навсегда. Вы были очень остроумны, очень. А я . . . может, слишком буквально воспринял сказанное, чересчур впрямую, голлодному шутки сытого невдомек».

Гризли наконец пришла в себя. С иронией, подобающей разоренной патрицианке при виде своего разбогатевшего вольноотпущенника,

она оглядела Тюрзена с головы до пят — от набриолиненных волос до начищенных дорогих туфель, самых дорогих во всей Риге.

«Господину Тюрзен, богатства у меня больше нет, но остроумие по-прежнему при мне. Думаю, что одежда франта — плохая броня. Обычное сукно в своем роде более надежная защита».

«Гм. Но у вас сбит прицел. Фундамент, на котором вы стоите, стал рыхлым. А Мэйор не та скала, на которую можно опереться».

«При чем тут Мэйор?»

«При том, что вам придется принять милостыню от человека, разорившего вашего отца».

«Ни за что!»

«Но что же тогда? Завтра первое число; вы обязаны освободить квартиру и весь дом. Ваша мать и младшая сестра уже живут на улице Дзирнаву...»

«Подумать только, как тщательно вы навели справки».

«Да. В резерве у вас ночь...»

«Я буду работать».

«Отлично. Но... кто же лучше меня знает, как трудно получить работу. На это уходят месяцы. Старые связи? «Сидробония»? Никто не протянет руку человеку, у которого никого нет. И... от Мэйора не скроешься; он будет доволен, если вы все же явитесь к нему на поклон. Это для него дело чести и реклама — проявлять о вас заботу. Все будут говорить: господин консул — настоящий старый джентльмен. Как он заботится о семье старинного друга! Слышать такое приятно, а консул умеет доставлять себе маленькие радости».

«А вам-то что до этого?»

«У меня бюро по торговле земельными участками».

«И при чем тут я?»

«При своих. Мне нужна энергичная, сметливая, эlegantная и привлекательная сотрудница, которая могла бы заменять меня в конторе, когда я отправляюсь по делам».

«Значит, вы второй, кто предлагает мне спрятаться под свое крыло. А еще говорят, мир жесток. И как благородно вы воздаете мне за то, что я однажды выгнала вас из этой квартиры! Но вам трудно скрыть, что вы еще начинающий делец. О великодушии Мэйора говорил бы весь город, а о вашем молчала бы одна незаметная скромная женщина. Вы просто романтик».

«Я практик. Работа, состоящая в непрерывном общении с людьми, где надо все объяснить, что-то изобразить, с чем-то спорить, отстаивать свое, — эта работа для вас, и больше чем какая-либо другая. Вы умеете нащупывать у людей слабые места. Из вас выйдет хороший сотрудник. С другой стороны, — продолжал он, помолчав, — сознаюсь, что предлагаю это место именно вам действительно с чувством некоторого удовлетворения. Но злобы я не держу. Мое предприятие тогда с... с...»

«Барышней Мэйор...»

«... было для меня непосильным; по крайней мере в ту пору».

«А нынешнее предприятие, вы полагаете, вам по силам?»

«Да», — со спокойной убежденностью произнес Тюрзен.

Гризли задумалась. Ей нравилась откровенность Тюрзена. Живя с Душелисом, она научилась ценить открытость и теперь домогалась ее с чрезмерной страстью истомившегося человека. Тюрзен со всеми его похождениями стал казаться ей поразительно цельной натурой; привлекала и его привычка выкладывать карты на стол и тем самым за-

ставать противника врасплох. Правда, в свое время она его презирала и даже выставила вон, но нынешняя Гризли о многих вещах судила иначе, нежели прежняя. К тому же крутые повороты, на все сто восемьдесят градусов, были в характере Гризли, очарование резких контрастов притягивало и манило ее. И представив себе высокомерную римскую маску — лицо консула, его манеру говорить — отрывисто, сухо, с видом занятого человека, не нуждающегося в благодарности, она почти решилась. Оставалось выяснить одно — чтобы никто не подумал, что у нее есть задние мысли.

«Вы женаты? — спросила она, внутренне радуясь тому, что в прямоте и откровенности не уступает Тюрзену. Ни один мускул не дрогнул на лице Никелевого Мартина, но впервые за все время разговора в его облике проглянула неуверенность и даже робость. — Ну конечно да, откуда же так внезапно переменялись ваши обстоятельства. — Тюрзен кивнул. — Итак, с этим все в порядке. Ну, и какое жалование вы мне положите?»

Тюрзен назвал сумму — приличную, но не преувеличенную. Тем не менее нигде в другом месте рассчитывать на столь щедрую плату не приходилось.

«Но от Мэйора не скроешься, — сказала Гризли, повторяя выражение Тюрзена, — вы не боитесь, что он при случае может вам навредить?»

Тюрзен усмехнулся.

«Начнете работать в конторе — увидите, кто кому вредит».

«Уж не надеется ли вы со временем и Иресе предложить место в своем бюро, господин шеф?»

Тюрзен усмехнулся.

*

А что же Имка? Бравый Имперский Мар? Что случилось с ним? Мы оставили его накануне бала сотрудников банка озабоченным и подавленным. Все собирались на бал, а ему хотелось побыть дома одному. С ним творились нехорошие вещи, что доставляло новые волнения сестре и брату, и без того угнетенным и отчаявшимся.

Во всеобщем гапе и газетной шумихе почти незамеченным прошел жирный заголовок в одной из утренних газет:

Домашний учитель — начальник тайного ордена и паука.

В других изданиях и в последующих выпусках этой же газеты больше, однако, о таинственном деле не появилось ни слова. Очевидно, благодаря вмешательству сил, способных заткнуть рот даже свободной прессе.

В ту ночь, когда банковские служащие Сургениека, словно в преддверии потопа, пировали и плясали на балу, в школе, где учился Сургениек-младший, произошел взлом. Вор с помощью отмычек проник в учительскую и в шкаф с документацией, забрал классный журнал оценочек, а для симуляции грабежа прихватил еще ряд малозначущих предметов с письменного стола, потом их нашли в зарослях зеленых насаждений на школьном дворе. В школе все были взбудоражены этим происшествием. Правда, директор сразу понял, что действовали непрофессиональные воры, но технические служащие успели известить полицию. Маховик следствия был запущен. Подозрение первым делом пало на неуспевающих, которые, в принципе, были заинтересованы в пропаже журнала. То были Имант Сургениек, Вилибальд Мэйор и Антон Стамур. Громкие фамилии, возможно, подей-

ствовали бы на директора, но не на полицию. Мальчики оказались на занятиях. Достаточно было посмотреть на их взъерошенный вид, чтобы заподозрить неладное. Их попросту обыскали. С умопомрачительным результатом: у Иманта Сургениека под сорочкой, на голой груди, в замшевом футляре, нашли Книгу Уставов Ордена пауков со всеми подписями членов. Недавние выпускники полицейской школы, покатываясь со смеху, читали параграф за параграфом. Братьев в ордене насчитывалось около двадцати. Все учащиеся. Но — Цезарь Шетурина? Это еще кто? Организатор, подстрекатель, основатель ячеек? Смех сошел с чиновничьих лиц, бледные и взволнованные, они перелистывали «Старые обязанности», изложенные сурово и лапидарно. Ниточка к огромной и чудовищной организации, первые следы заговора, орден, ложа, угрожавшая государству и чуть ли не всей Европе! Волосы вставали дыбом. Работа закипела. Телефоны раскалились. Автомобили громыхали по улицам. Личность Шетурина была выявлена мгновенно, и отдел тяжеловооруженных полицейских без промедления принял меры к захвату, при обстоятельствах, уже известных читателю. Начались допросы и расследования. Но едва начальник криминальной полиции, старый вояка, побывавший в разных передрягах, увидел круглое, перекошенное безумным страхом лицо Шетурина, он сразу понял, что улов невелик; в лучшем случае это мелкая сошка, винтик в гигантском преступном механизме, видать попался как кур в ощиц, сам не понимая, куда и зачем. Так оно и оказалось. Шетурина, житель окраины, вырос на глазах местной полиции и даже приходился родственником одному из полицейских чинов. Через час весь его жизненный путь, прежние места жительства и род занятий были как на ладони. Ничего порочащего. Не судим, не пьет, не курит, прилежен в работе, на свои скудные средства содержит старую больную мать. В кабаках не замечен, в скандалах тоже, от военной службы освобожден по причине плохого зрения, ни в каких организациях не состоял, если не считать . . . Ордена пауков. Вексельные дела Шетурина до ушей полиции еще не дошли.

Начальник посмеялся, позубоскалил насчет усердия молодых служащих и обратил свое внимание на остальных братьев, особенно магистров, которые между тем были задержаны. Их допросили в присутствии директора школы. Здесь результат расследования выглядел хуже.

Вот уже долгое время в школе творились безобразия, обнаруживались все новые шалости и проказы. Директор давно подозревал, что заводилами являются одни и те же сорванцы, но и в мыслях не имел раскрыть такой обширный, и со знанием дела, блистательно организованный орден, обладающий своим уставом, ритуалом вступления, ступенями, чинами, институтами изгнания и патронажа.

Список прегрешений пауков вышел весьма длинным. Это пауки доставили директору наложенным платежом изящно упакованный старый башмак со всякой дрянью внутри, поместили в газетах объявление о наборе рабочих разных.bestоловых специальностей, и люди приходили в школу, расспрашивали, мешали директору работать. Это пауки от имени неизвестных похитителей детей подбросили классной даме письмо с угрозой украсть двух ее очаровательных малышей, и полиция с ног сбилась в поисках виновников. Техническому служащему, посмевшему накричать на пауков, они подожгли в обивку стула кусок смолы, который растаял под задницей и испортил новые брюки служащего. Пауки разбрасывали по школе листовки с карикатурами на учителей; запрятали будильник в классной печи, и он не вовре-

мя прозвонил конец урока; прогуливая утренние часы, они вложили в патроны электрических лампочек по всей школе картонные шайбочки: никому и в голову не пришло вывинчивать лампочки, думали, все дело в предохранителях. Это главным образом пауки во время «оконов» в расписании курили в уборной и щелчком приклеивали «кончики» к потолку, отчего помещение стало напоминать сталактитовый грот. На школьных вечеринках в баре пауки пили водку и выбрасывали бутылки через окно в сугроб, весной, когда снег сошел, во дворе обнаружилась огромная батарея посуды. Конечно, не кто иной, как пауки, могли вломиться во время вечера танцев на чердак и через люк барочной люстры посыпать головы танцующих мелко порубленными астрами и нюхательным табаком. У многих учеников, которые отклонили предложение вступить в орден и потому, сами того не подозревая, перешли в разряд лиц, подвергнутых остракизму, были распороты, тут же в школе, с помощью острого лезвия, пиджачные швы, причем так искусно и ловко, что только через какое-то время, когда человек хотел застегнуться на все пуговицы или обдернуть пиджак, тот, к невыразимому ужасу пострадавшего, вдруг расходился по швам. Регистр проделок венчала операция похищения классного журнала с использованием набора отмычек. Это уже тянуло на уголовное дело и грозило кое-кому заключением в колонию для несовершеннолетних.

Магистрам по крайней мере, а их было шесть, предстояло исключение из школы, не говоря уже о самом гроссмейстере — Имперском Маге. Видя, что спасения нет, Имперский Маг указал место на заднем дворе, где был зарыт украденный журнал, и героически пытался взять всю вину на себя, как впоследствии выразился Вилибальд, действительно «бежал обезглавленный вдоль строя товарищей подобно знаменитому пирату Клаусу Стортебеккеру».

Директор категорически возражал против мер полицейского порядка. Он созвонился с консулом Майором, и совместными усилиями они добились того, что дело не дошло до суда и не попало в прессу. Единственную, оставшуюся почти без внимания газетную заметку написал какой-то ловкий репортер, заполучивший сведения вскоре после ареста Шетурина. В конце концов из школы исключили только Имперского Мага, который самолично отмыкал двери, похищал журнал оценок и не выдал Великого Дракона и Благородного Циклопа, стоявших «на атасе».

Следующий вечер в двадцати рижских семействах с полным правом можно было бы именовать не вечером, а «варфоломеевской ночью». Там раздавались плач и стоны, ручьями лились слезы, и хотя кое-кто из пауков уже, как называется, вырос из коротких штанов, безжалостное наказание ради отвращения от зла и обращения к добру, причем наказание не только словами, но и весьма неприятным воздействием, не замедлило быть.

20

Что на чужбине найду я? Конец?
Может быть, да, а может, и нет! . .

Эрик Адамсон

События разворачивались стремительно. Примерно через неделю после бегства из дома Сургеников Эпалт встретил Тюрзена. Обычно угрюмое лицо графа цвело в улыбке.

«Привет, старина, — окликнул он Эпалта. — Сегодня я заключил выгодную сделку, надо обмыть, приглашаю».

Эпалт удивился, ведь Тюрзен не пил, по крайней мере за свой счет, никогда. Но, видимо, его распырало от хороших новостей, хотелось с кем-нибудь поделиться.

«Я продал Мэйору земельный участок в Межапарке», — сказал Тюрзен, когда друзья обосновались в саду одного из ресторанов. «Всучил-таки наконец. И за полную цену?»

«Ну не совсем. Мэйор упрям. Кто знает, а вдруг бы он бросил свою виллу. Десять процентов я уступил».

«Ах ты жулик! Он же переплатил в девять раз. Ты что, намерен и впредь действовать в таком же духе? Я бы не советовал».

«Разумеется, нет, но мне очень уж хотелось сыграть с могущественным консулом эту шутку».

«Бедная Ириса. Ей-то больше всего и досталось от твоих кур и твоего дыма. Она же тебя не задевала и не оскорбляла».

«А-а, все-таки, все-таки. Тебе надо было поглядеть на ее лицо, когда меня возвели в графское достоинство. Ух как она устыдилась, что позволила какому-то пресмыкающемуся увиваться за ней. Пусть вспоминает меня пока хотя бы так».

«Не питай понапрасну злобу. У нее жизнь не задалась. Принца не получила, оруженосца не захотела. Что слышать о Спрукулисе?»

«Исчез с горизонта. Из «Кубезелии» вышел. Так говорит Гризли».

«Гризли? С каких пор ты с нею дружишь?»

«Она работает у меня в конторе».

Эпалт долго молчал.

«Ах, значит, это твой способ благодарности за дворянское звание». Граф Нос де Сопляй довольно усмехнулся.

«Гризли единственная из всего семейства, кто еще на что-то пригоден, это я тебе говорю. Жаль, я уже женат», — сказал граф. Он бы не умер от скромности.

«Погоди, и другие на что-нибудь сгодятся. Просто ее первой затянуло под мельничные жернова».

«Да, Душелис стер ее в порошок. Теперь великий гурман вновь стоит за прилавком в продуктовой лавке отца и взвешивает селедку».

«Простота — венец кулинарии, как и любого искусства, — процитировал Эпалт Душелиса. — Не бойся, из селедки он приготовит блюдо получше, чем мы из осетра или акульих плавников».

Эпалт собрался уходить. Тюрзен остановил его.

«Погоди, не спеши. Я поджидаю своего шурина Пригу, следующей ночью его судно уходит в Ярмут. Одному сидеть скучно. Знаешь, что надумал сумасшедший экс-наследник престола Висвальд? Он плюнул на богатых девушек — а в кругу старых подружек еще можно было подцепить какую-нибудь — и тотчас по окончании траура женится на машинистке отца. Помнишь ее, блондинка, работала в кабинете по вечерам, когда мы бывали у Сургениеков? Я, правда, толком ее не разглядел, но Гризли говорит, она им дальняя родственница и вообще неплохая девушка. Да что с нее возьмешь — без гроша за душой и без места. Принц запретил ей работать в банке, который возродил Мэйрр».

— Тотчас по окончании траура. Еще не все потеряно. Полный вперед! Златоуст, старина, ты еще можешь вернуть утраченное! — Но что-то надломилось в Эпалте, куда-то подевались его энергия и решимость. Еще неделю назад мысль об отступлении не пришла бы ему в голову даже в самый тяжкий миг. Он бы ни минуты не сомневался

в своей окончательной победе. Куда все девалось? Жгучая боль ошпарила его, жгучий стыд за то, что погряз в пустяках, за неумелость свою, малодушие. Но только ли неумелость, но только ли малодушие? Не стояла ли между ними какая-то роковая преграда, о которую он бился лбом, как пчела о стекло? Да, речи его были странные и нелепые, но ведь не настолько нелепые и странные, чтобы их нельзя было понять. Слова немые, пусты, глупы; одними словами взаимопонимания не добьешься; на словах нас могут даже охаивать, порицать, отталкивать, но мы знаем, что это у нас просят прощения, объясняются нам в любви и зовут за собой. Только слушать надо не ушами, а сердцем. Или Николина этого не хотела — не могла? Может быть, и в самом деле они из двух разных, чуждых друг другу миров? По крайней мере в этом можно найти оправдание и утешение. Но черт с ним, с этим трусливым утешением, долой это лицемерное оправдание. Неудача и есть неудача. Пусть острая горечь растревляет раны, пусть жжет, как едкая щелочь, пусть пробирает до костей, до самого доньшка. Он потупился и произнес:

«Романтично».

«Да, это так. У практичных отцов романтичные сыновья. Как бы он еще социалистом не стал, среди их вождей попадаются разорившиеся богачи или аристократы».

Внезапно Эпалт схватил друга за руку.

«Мартин! Однажды я помог тебе, когда ты пришел ко мне за помощью, теперь твой черед».

«Ладно. Сколько тебе нужно?»

«Не о деньгах речь. Уговори Пригу взять меня с собой в Ярмут. Оттуда я доберусь до Лондона, там у меня брат работает на фабрике аэропланов, он поможет мне подыскать жилье на первое время. Я задыхаюсь здесь».

«Ага, — со значением протянул Никелевый Мартин. — Понимаю, понимаю. Ты хочешь бежать. В своем роде это выход. Повидаешь свет. Поработаешь. Ты ведь давно мечтал о Национальной библиотеке. Теперь жениться на Дагне Сургениек . . . »

«Дагне? Кто тебе это сказал, тоже Гризли?»

«Не только Гризли. Многие говорят. Гризли совсем от этого не в восторге. Да, жениться на Дагне все равно что сделаться ишаком. В работе помощи от нее ждать не приходится. Другое дело, если бы у тебя был хутор . . . Жаль, что у Сургениеков все пошло наперекосяк. Все твои усилия обернулись пшиком. Ионас охотно устроит тебе эту поездку. Он теперь слушается меня во всем. Чем человек хвастливый, тем легче им управлять, надо только уметь нажимать на нужный рычаг». Тюрзен вновь усмехнулся, гордый своими победами.

— В одном я все-таки преуспел, — подумал Эпалт, — в сохранении своей тайны; один лишь Имант, Имперский Маг, посвящен в нее. Слава Создателю, уже следующей ночью меня здесь не будет. Хотя бы тут повезло. — Видеть Николину с Висвальдом, Дагне, подыхающую от ревности и глядящую на Златоуста как на проходимца, — это невыносимо. Прочь отсюда, и поскорее! Вот разве что бедного гроссмейстера Имку неплохо бы повидать перед отъездом.

Наутро Эпалт отправился к Тюрзену, чтобы уладить последние дела с Ионасом. Двери посреднического бюро отворил ему Шетуринь. Кого угодно ожидал увидеть Эпалт в тюрзеновской конторе, но только не жертву дружеских векселей, губернатора, навсегда повенчанного с бедностью, как Франциск Ассизский.

«Послушай, что это значит?» — шепнул Эпалт Тюрзену, едва домашний учитель вышел из комнаты.

«Гризли попросила его устроить. Он нигде не мог получить работы. Ну, а посылный мне все равно скоро понадобится».

«А что говорит о новых сотрудниках твоя жена?»

«Жена? Жена рада, что дело расширяется».

Из заднего помещения показались Гризли и Имант. Очевидно, сурово наказанный Имперский Маг, не зная куда приткнуться, жил у сестры. Граф Нос де Соплий стал походить на миниатюрное подобие Сургениека. В его бассейне или, вернее, в бочке уже плескались банкирская русалка, гувернер и младший сын. Эпалт не смог скрыть улыбки. Гризли завелась с пол-оборота:

«И господину Эпалту понадобится помощь. В конце концов, уже некому подать ему руку, — она напомнила давний разговор, — а просить чьей-либо руки он, оказывается, трусит».

«Мадам, разве вам неизвестно, что женитьба отнюдь не универсальное средство от всех болезней».

«Златоуст», — процедила Гризли. И было непонятно, звучит ли в ее голосе презрение, сожаление, или же оскорбленное и неудовлетворенное самолюбие. Вдруг она швырнула в него фразой, словно ручной гранатой:

«Вы недостойны моей сестры! У вас нет сердца».

«Есть! — воскликнул Эпалт с такой страстью, что сам вздрогнул; все неизбывное горе несчастной любви взбурлило в нем. — Есть, но маленькое, только для себя». И вышел.

За десять минут все было улажено. Штурман Ионас Прига взял его в свою каюту. Ионас зажал в своей лапиче необыкновенно белую руку Эпалта и с грубоватой, но добродушной фамильярностью полномочного лица без обиняков обратился к нему на «ты», как обращался ко всем, которых считал ниже себя:

«Так-так, опять, значит, придется одного фланера перекрестить в моряка! Damned! Возле кейп Скагена устроим настоящий тарарам. Ну, давай живо за вещмешком и в Вентспилс, отход в три ночи. Let go!»

Эпалт поблагодарил. Распрощался с Тюрзенами и переглянулся с Имантом. Тот вышел следом. Долго шли молча.

Поверженный Имперский Маг мало чем напоминал прежнего Имку. Ни следа от лукавой усмешки, ни тени наглого взгляда. Он шел рядом такой побитый и грустный, что Эпалту стало жаль его. — Хороший малец, — подумал Павел, — тогда в полиции, перед лицом нешуточной опасности, ему стоило промолвить только одно словечко, и меня тоже притянули бы по делу о разнесчастном ордене. Ведь мы вдвоем составляли в библиотеке треклятую Книгу Уставов.

«Ну, приятель, — сказал наконец Эпалт, — мы оба потеряли почти все».

«Выходит, что так».

«И все-таки мы не вешали носа».

«Это так. — Имант помолчал немного, потом сказал с горечью: — Вы считали меня шутком, когда помогали создавать этот . . . орден».

«Баловником. А теперь — единственным из Сургениеков, с кем можно найти общий язык».

«Все получилось так глупо . . . Почему?»

«Имант, дружище, жизнь — это борьба. Каждый шаг — это сражение. Дышать — значит сражаться. Чувства и инстинкты влекут тебя на бой, обстоятельства давят, товарищи подзуживают, и человек

велик настолько, насколько велика та битва, которую он ведет. Смотри, чтобы не разменять свою жизнь по пустякам. Но главное, учти вот что: потерять уважение в глазах других, конечно, больно, но мужчина должен это снести; потерять уважение в собственных глазах — вот это конец. Значит, борись всегда так, чтобы ты мог уважать себя и когда победишь; в этом случае ты сможешь уважать себя и когда проиграешь. Задавайся высокими целями. Коль скоро судьба дарует тебе возможность самому выбирать себе противника, то позаботься о том, чтобы это был если мужчина, то самый сильный, если женщина, то самая красивая, если идея, то самая громкая. И коль ты вступил в схватку, на отдых не надейся; каждая победа — это лишь начало нового поединка; отдохнешь, когда падешь в бою. Но запомни — настоящего мужчину можно узнать не столько по тому, как он борется и с кем борется, сколько по тому, за что он борется. Смотри, не сражаешься ли ты только за себя самого.

И опять они шагали молча.

«Вы уезжаете?»

«Да».

«Вы знаете, что о вас говорят?»

«Ну?»

«Что это бегство».

«Это правда».

«А как же борьба, о которой вы говорили?»

«Может, я бегу прочь . . . чтобы отдохнуть».

«Разве вы . . . пали в бою?»

«В бою за личное счастье».

«Но ведь это не то что великая битва, достойная настоящего мужчины: смотри, не сражаешься ли ты только за себя самого».

Они снова помолчали.

«Возьмите меня с собой», — сказал вдруг Имант.

«Милый друг, у вас еще много неоконченных дел здесь, в Риге».

«За иудины гроши Мэйора посещать школу, просить чуть ли не на коленях?»

«Настоящий, уважающий себя мужчина выдержит все . . . поэтому он себя и уважает, что держится до конца».

Имант засмеялся:

«У нас с вами как у того пастора: внимай моим словам, но не смотри на мои дела. Но я буду ждать вашего возвращения!»

Расставаясь, они обнялись и по-братски расцеловались.

*

Эпалт приехал в Вентспилс в полночь. В порту было темно, как под кроватью, лишь кое-где призрачно мерцали сигнальные огни. Но старик извозчик, знавший движение судов в устье Венты не хуже, а может, и лучше самого начальника порта, петля между штабелями дров, брусового леса и грудями бревен, без проволочек подвез путника к огромному чернеющему силуэту «Селонии», растопырившему мачты и трубы, из которых валил дым, на фоне темно-синего неба. Во тьме пароход казался высокой призрачной громадой. В иллюминаторах кают, тянувшихся вдоль носа, как жаберные отверстия у миноги, таял свет. На судне царила негромкая суета, приближался миг отплытия.

— Значит, этот черный дракон с сотней горящих глаз и дымящим, выбрасывающим снопы искр зевом и есть мой спаситель, —

подумал Эпалт, — спасаюсь от самого себя. — С небольшим сажовжем он взшел по крутому трапу на палубу.

«Селония» отплывала с грузом лесоматериалов в Ярмут. На палубе, нарастав судовой корпус по меньшей мере на треть, громоздились бревна и балансы. В каюты можно было попасть только по ненадежной лесенке, перекинутой через груды брусков.

Эпалта встретил стюарт. Штурман Ионас Прига был занят. Выпив чашечку кофе, Эпалт прилег на койку и, не обращая внимания на болтовню стюарта, уснул.

Когда он проснулся, узкая каюта тонула в сизом мраке. Корпус парохода сотрясался с глухим гудением, время от времени тяжело, но мерно переваливаясь с борта на борт. Эпалт вышел на палубу. Над свинцово-серой дрожащей линией горизонта виднелась стальная полоса — то ли облака, то ли берег. Перешагивая через аккуратно уложенные доски и рейки, он добрался до дымовой трубы толщиной с вековой дуб. Под ногами, за железной решеткой, — глубокий, с переплетом уходящей вниз железной лестницы, кратер, на дне которого двигаются едва различимые сверху фигурки. Нездоровый пар поднимается из этого колодца. Какой-то человек, с ног до головы в угольной пыли, с обезьяньей ловкостью вскарабкался по лестничной сетке, откинул решетку, с воем прокрутила ледяка, вытянув наверх огромное ведро горячего шлака, и человек с размаху опоросил его в море, знай только искры сверкнули да белозубая улыбка на черном лице.

«Сойдите вниз, — сказал обитатель преисподней, — увидите, как живут черти».

Эпалт стал спускаться по нескончаемым ступенькам в крошечную тьму, в самое чрево парохода. Здесь, ниже ватерлинии, воздух был так раскален и насыщен угольной крошкой и чадом, что дышалось с трудом. Четверо парней, одни полуголые, другие в борцовках, отплевывали перед шестью горящими топками адское фанданго, капли пота прочерчивали на покрытых сажей телах причудливые узоры, красные блики ложились на лица. Несмотря на качку, четверка прицельно швыряла уголь с тяжелых совковых лопат в топки, разинувшие узкие пасти от пола до высоты плеч, и это было изрядное искусство. Сделали несколько гротескных шагов, побросали лопаты и, вращая белками глаз, столпились под огромным вентиляционным люком, откуда, завывая, вырывался беспощадный, леденящий морской ветер, обдувавший их потные тела; минуту назад зябко ежился под тем же ветром Эпалт, упакованный в пальто и свитер.

Пораженный такой лихостью, Эпалт через узкие железные дверцы протиснулся в машинное отделение. От тошнотворного смрада прогорклого масла перехватило дыхание. Шипение и страшный гул оглушили его. Но тут было светлее: просторную шахту высоко вверх накрывал стеклянный фонарь, как в жеволской мастерской.

Два громадных стальных чудовища, прикованные цепью в разных углах шахты, бились, как буйные, в страшных эпилептических корчах, а может, судорогах агонии, брыкаясь и тряся своими истекающими масляным потом корявыми конечностями. Жуткий клекот, отчаянный рев и всхлипы наполняли высокое, наподобие башни, помещение. Страстное, с лютым присвистом дыхание чудовищ легкими струйками пара растекалось промеж валов и поршней, дрыгались бусинками, и по неуклюжим металлическим телесам скатывались слезы. А два злых и проворных душегуба егозили вдоль перил, сновали по лестнице, с садистским наслаждением вкручивали в плоть гигантов

какие-то болты, кусали ее рычагами, расковыривали, шуровали, вливали в уши и ноздри мерзко пахнущее масло из узкогорлой масленки, и грязной жирной тряпкой хлестали по круглым стеклянным глазам, красные прожилки которых свидетельствовали о безграничной усталости плененных титанов, страдающих высоким давлением.

С тяжким, сокрушенным рокотом вздымались ребристые грудные клетки машин; из сплетения уродливых членов ритмично выбрасывалась наружу, не то с угрозой, не то вздымаясь в мольбе, длинная толстенная железная рука, но, не дотянувшись до стеклянного перекрытия, разбрызгивая масло, втягивалась назад, чтобы вновь грозить кому-то и снова устремляться к потолку.

Гулкие ритмы понемногу ввергли Эпалта в транс. Не жернова ли это равнодушной и слепой судьбы, перемалывающие все что ни попадется, рвущиеся в безумную схватку? Ходят вверх-вниз могучие стальные болванки, вращаются, мелькают в диком колдовороте мото-вила, колеса и зубья; и ни кожуха, ни перил, судно качает из стороны в сторону, малейшая оплошность . . . закрыть на мгновение глаза, и стальные когти затянут тебя в чугунные челюсти, — и не будет больше ни страшной пустоты бесцельного существования, ни боли, ни жестокой безысходности, не будет Николины.

Все прежние болячки, все бывшее отчаяние и унижение обрушились на бедолагу Златоуста. Он скорчился, как от колик, и ухватился за выпачканное маслом лестничные перила. Светлый, мучительно-недосягаемый облик Николины воссиял перед его мысленным взором. С кощунственным сладострастием ощущал он, как обнимают его слабые и нежные руки, скрежеща зубами, представляя, как соединяются в сладостном касании губы, смежив веки, мечтал обо всем, чего уже никогда не случится. Бог ведает, что удержало его от порожденного страшной игрой воображения, навязчивого желанья броситься в чугунные объятья. Может, то, что он невольно запрокинул голову и высоко над собою увидел свет, клочок неба. Но в эти жуткие мгновения, глубоко под водой, в грохочущей шахте, в нем что-то надломилось. Одна мысль потрясла его как откровение — ведь нельзя же вечно и безысходно страдать за одно и то же! Перегорело, и если ты сам не сгорел в этом пламени — так встань и иди.

Когда Эпалт вновь поднялся на палубу и взобрался на капитанский мостик, белопенное море сверкало под белесыми, пробивающимися сквозь легкий туман лучами солнца. Седые волны, качая груженный пароход, время от времени вскипали бурунами на носу и вдоль бортов, свежий ветер обдавал соленой росой штурвал. Сколько хватал глаз, все вокруг тонуло в светло-серой дымке. Ионас Прига стоял на вахте.

«Эй ты, старая сухопутная акула, ты где это так измазюкался, у чертей в аду? Ступай-ка на камбуз, попроси у юнги бензину и приведи в порядок свою одежду».

Прямо по курсу «Селонии» показался небольшой, чистенький, словно умытый зарею, пассажирский пароходик.

«Гляди-ка, швед. Ишь, какой — игрушечка, а проворный, ну что твоя красна девица. Несется на всех парах. Где уж нашему дохлому угольщику, прочь с дороги! Лево руля», — приказал Ионас.

«Лево руля», — повторил матрос и крутанул штурвальное колесо.

Глубокоуважаемая редакция!

Умоляю, пишите какие угодно отзывы, можно даже отрицательно-унизительные, разоблачительно-развенчательные, но только не передавайте все это в КГБ!

Были у меня уже такие курьезные случаи, так что половина моего творческого наследия хранится в надежном бункере.

Мне остается льстить себя надеждой, что с грифом «хранить вечно».

На ваш суровый перестроечный суд высылаю ироно-лирические, своеобразные страдания.

Это вынужденный, почти отчаянный поступок.

И хотя мной все восхищаются, меня уважают и даже боятся, но все так же грустно говорят,

что я пишу крупные вещи, мол, с таких объемов входить во всемирную литературу нельзя. Но это неправда!

Самая крупная моя вещь — одна пятая объема «Войны и мира» и в два раза меньше «Бедных людей».

Ах, эти нерусские Бальзаки и американские Фолкнеры! Это они укоротили наши славянские чувства до пределов газетного столбца.

Это они заставили меня так чудовищно страдать,

и я просто вынужден показывать крохотные кончики своих незримых чувств, необходимость публикации которых

можете определить лишь вы, умный и чуткий редактор.

Судьба моего нищенского бюджета, мое питание, мои новые штаны,

мое мировоззрение и здоровье — все! — в ваших судебных руках.

Так кто же я?

Малыш с грязной улицы. Правда, мне 30 годков и я иногда отращиваю бороду,

но все равно — пацан пацаном, недоучка и неудачник, изгнанный из всех высшеобразовательных заведений и уже пять лет живущий подаянием.

Меня нужно куда-нибудь деть, и если вы меня не будете печатать, то хотя бы подумайте (и дайте рекомендации), куда меня и мне подобных девать в светлом перестроечном будущем.

Хочу обратить ваше внимание на особый характер «Страданий» — заметьте, они написаны не от моего лирического «я», мое это самое «я» гораздо проще, и оно понимает, что такие страдания могут возникнуть у идейно невыдержанных расхлябанных личностей.

Так что можете это лирическое «я» отчитать как угодно — я буду очень доволен.

К тому же у меня есть маленькое оправдание:

я ограничился 26 этюдами

(ниже публикуется 12. — Ред.).

Почему? Во-первых, для того, чтобы была у вас возможность сократить объем

и сэкономить милосердие,

во-вторых, эти страдания бесконечны

и их можно было бы умножить,

если бы за них я получил хотя бы 26 рублей,

в-третьих, напиши я еще 26 этюдов,

то где гарантия, что, несмотря

на вялотекущий плюрализм

и заведомо расширяющуюся демократию,

я сам не очутюсь в вечно перестраиваемом

бункере?

И последнее — извините, если что-то вас лично заденет: герои — народ нетактичный,

порою просто невоспитанный,

не говоря уже об этом самом необузданном

лирическом герое.

По крайней мере я с особым удовлетворением

передам ему все ваши высококалорийные

и финансовые замечания, дабы

неповадно было впредь задевать

интимные чувства уважаемых мною граждан.

С поклоном

Игорь ГАЛЕЕВ.

Калуга,

Ромодановские дворики

Р. С. Общее название — если не устроят «Страдания» — предлагаю:

«Ромодановские дворики». Для неискушенного в истории читателя это будет нечто мирное

и теплое, немного загадочное...

Для сведущего в нашем славном прошлом

это воскресит в памяти

князя Ромодановского — заплечных дел

мастера, и должность — что-то вроде

председателя КГБ: заведовал

Преображенским приказом при Петре.

Детей им до сих пор кое-где пугают.

Вот и выходит, что теплые дворики сочетаются

с таким звучным и суровым именем...



РОМОДАНОВСКИЕ ДВОРИКИ

ЭПОДЫ

КАК Я ОТКРЫЛ АМЕРИКУ

С точки зрения большинства, он недопустимо странный — этот малый Алексей Копилин, гитарист-перекачиполе. Но он не помнил, чтобы кто-нибудь называл его Алексеем. Мать — Лёсиком, отец — Лексеем, друзья — Коп, девчонки — Леша и даже горькая как полынь любимая — Лешиком, Лешенькой. Его и язык как-то не поворачивался назвать Алексеем. Вид не позволяет. Худ больно, бледен излишне, разговорчив до неприличия и все чего-то ждет от жизни, а чего — сам не знает. И потом, как к нему серьезно относиться, если этот человек в свои двадцать пять с половиной лет ничего себе не покупал. Кроме, разумеется, спичек, папирос и... больше ничего.

В далеком от столицы городе, где он родился, а также в других далеких от нее городах, где ему волей судьбы приходилось возрастать, о его одежде заботились сначала мама, потом еще раз мама, затем благородные подружки, участливые друзья и их мамы и знакомые и опять же его добрейшая мама, которая посылала ему то свитер, то трусы и носовые платки. И это когда Копилин неплохо зарабатывал и на себя, практически, не тратился. Тут сразу же можно заподозрить, что у него скопилась

кругленькая сумма, которую он приберегал для каких-то ему одному вошедших в голову целей. Не на фрак же ему сбережения. Конечно, он копил! Правда, один раз в жизни, в течение пяти лет. Он носил шелковом носке все свои несчастные трешки и червонцы, дошедшие наконец до двух тысяч пяти рублей восемнадцати копеек, и подсобрал бы еще больше, если бы в один прекрасный день не понял ясно, что его ни с деньгами, ни без денег в Америку не пустят — не к кому и незачем. Вытащил он с глухим стоном из кармана засаленный носок, вынул из него потные бумажки, промотал их с помощью друзей и с той поры возмечтал об Америке социалистической, чтобы было тут, как там, а там пусть остается, как было.

Страна-отчизна-родина-Россия порой воспроизводит на свет таких вот вычурнутах, с позволения сказать, индивидуумов. Но что откуда берется! Мама ни о чем таком не помышляла, ни о каких таких жутких путешествиях не думала, папа был в коллективе и боготворил коллектив, учителя часами рассказывали о родных просторах, те же педагоги в техникуме всячески порицали буржуазный образ жизни, цифр одних приведено сколько было! Тут, может быть, друзья? Да уж, эти растлительные друзья и ули-

ца! Нездоровое место эта улица. Стоит выйти из дому, учреждения-заведения, и словно бы попадаешь в иной чуждый мир, уходишь в какую-то черную дыру, где законы чужие, язык иной и все вокруг иное. И как еще такое может быть! А кто разберет, где же настоящая жизнь, и как молодой человек поймет, где лучшее? Нарвешься на таких вот друзей в кавычках, а они давай шептаться о мире за океаном, и совсем непонятно, в каких они школах учатся. «Америка!» — это слово в их устах звучит прямо-таки с придыханием, с каким-то никому не нужным волнением. И если походить подольше по всяким таким вот улицам, то можно наткнуться и на взрослых, равнодушных к зарубежным фирмам, к жутким наклейкам и картинкам, к кусочкам американской жизни по телевизору («пап, иди, Америку показывают», — и такой вот папа спешит). И бывало же, что слушали пацаны раскрыв рты, как кто-то, совсем уж неизвестно откуда взявшийся, выходя из кинотеатра, говорил: «Умеют же жить, чертяки!» И странно получается: чем больше порицается, чем больше «нельзя» и «нельзяев», тем жутче интереснее, зовет и манит дворовых сорванцов — закон прямо железный, прямо-таки закон природы.

«Америка!» — выпучивают глаза мальчишки. «Америка!» — цокают языком фирмачи. «Америка!» — кивают недоученные папы.

И Лешка Копилин вляпался в эту заразу. Собирал он в глубоком розовом детстве макулатуру. Позвонили с другом в квартиру, а одна тетенька с папиросой в зубах, бац им три связки кошмарных журналов. Только-только к тому времени приятели бегло читать научились, рогатки еще из карманов торчали. Найти бы эту тетеньку и всыпать ей горячих, чтобы знала, кому чего давать. Два года Ленька с приятелем листали и перелистывали замусоленные страницы на чердаке, пока не залистали журналы в труху. Одно и хорошо, что язык иностранный на «отлично» сдавали. Америка тогда для них была не нужной миру Атлантидой, которая должна была вот-вот погрузиться в пучины океана или же стать частью единого, знакомого им порядка. И они интересовались всем, что касалось ее апогея, они набожно верили в ее

грядущую агонию, они сделались маленькими историками сказочной для них державы. И еще долго шептались вместе с ними сотни и тысячи других розовых и бледных короткоштаннных пацанов: «А-ме-ри-ка!»

Одни вырастали и забывали свои потаенные увлечения, входили в большую нормальную жизнь, обзаводились семьями, и тогда уже их сопливые сыновья через две комнаты: «Пап, Америку показывают!» — и тогда в папах пробуждались былые ощущения, но они уже смотрели в экраны практическим взглядом, без былого придыхания, просто один злопыхательствовал, а другой поглядывал как на старое детское хобби: болезнь прошла, и теперь отходили папы на покой, думая о завтрашнем дне, об отдыхе и о хлебе насущном; Америка сделалась для них телевизором, газетами и радио, они познали, что солнце везде одинаково, только светит разве с разных сторон, теплее или холоднее.

Многие сверстники Копилина стали теперь искать практическую пользу от своего былого пристрастия. Доставали то и се, ориентировались — что прочнее и моднее, умели поддерживать разговор и даже становились работниками «Интуристов».

Но оставались другие. Очень уж впечатлительные, не в меру стойкие по своим начальным воззрениям, не находящие себе пристанища. Как Копилин, например. Он тоже знал и хвалил то и се, щупал и оценивал, он восхищался тем, что показывали приятели, но сам как-то не носил и не имел фирменных штанов, картинок или безделушек. Не перекупал, не продавал, потому что на любую куплю-продажу у него был стойкий удивительный страх. Если не сказать аллергия.

И носит Копилин что попало, даже если смертельно есть захочет — в магазин не пойдет, в столовую не сунется, и если бы не его страсть к Америке, он бы выглядел обыкновенным парнем средней руки, а не играл он на гитаре — на него вообще никто бы не смотрел, ему бы ни одна девушка пирожок не купила. Но он отличный гитарист. Его пальцы нервны и гибки. Его слух тонок и чуток. Он фанат. И его уважают те, кто его слушает, те, кто делает вместе с ним музыку. Когда он обнимает гитару, то вместо

бледного худосочного никчемуйки в нем загорается полубог, извлекающий из хаоса смысл и гармонию, которые в своем сочетании рождают у зрителей чувство восторга. И в такие минуты он красив и пленителен. Особенно для девушек. Вот почему они так благодарно заботятся о нем, приносят пищу и покупают шелковые носки, подбирают на свой вкус туфли и рубашки. У него самого вообще нет вкуса, хотя он мог бы одеваться по последним крикам. Деньги теперь у него редко водятся. Он их получает и проедает вместе с приятелями и девочками, совсем не интересуясь отечественными ценами. Зато знает, сколько в Америке стоит какой-нибудь «мустанг» нынешнего года и почему там сегодня новогодние елки. Где он эти сведения почерпывает, одному богу известно. Наверное, выдумывает, потому что в «голосах» этого не дают, в газетах, может быть, выживает. А эти проклятые «голоса» он слушает постоянно. Приступы аллергии заставляют его уединяться, и пока не сойдут пупырышки, он вертит ручку настройки, воршит в волнении шевелюру, благоговеет, пьет горячий чай и злится на помехи. «Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона», — слушает Копилин, и сердце его замирает, трепещет мелко-мелко, и ждет он, когда начнут резать правду-матку, когда белое покажут белым, а черное — черным. Копилин в экстазе, он весь внимание и анализ, он вершит политику и участвует в судьбах мира, он велик, он причастен. «Говорит радио «Свобода!» — и душа Алексея в плену у «Свободы», и от этого плена он становится гражданином вселенной, наркоманом прав и справедливостей и сидит, сидит часами, утопая в последних известиях, в событиях, людях, фактах и комментариях. Пупырышки сходят, но он одержим, он витает над миром, хотя вполне психически нормален. За клиническую грань он не перешел. Он попросту все еще все свои мечты и чаянья связывает с грядущим — с Америкой. Он видит день, когда его жадным глазам и ушам откроются края и звуки великой цивилизации.

Можно подумать, что Копилин с Луны свалился и не знает, как плохо людям живется в Америке. Можно подумать, что Копилина все еще не

вычислили и не обработали по какой-нибудь производственной ошибке или ввиду особой конспирации. Ничего подобного. Никакой Копилин ни анти-, ни отце-, ни завербо- и не -советчик. Ни эгоист, ни гад, ни приживала. Он был таким, как и все в щенячьем возрасте. А теперь он просто хочет пожить — в Америке, без заявлений и протестов. И еще он мечтает — это в нем прямо огнем горит — войти в какой-нибудь американский наисовременнейший ансамбль и сотворить в нем сообща с американскими парнями такое... ну прямо как у «Битлз» или как у «Пинк Флойд», только, конечно, на другом уровне. Копилин же талантлив. Он без настоящих парней свой дар растрачивает впустую, там же наисовременнейшая аппаратура, он же здесь жизнь проживает зазря!..

Отпустили бы Копилина. Пусть поедет, помыкается, насмотрится, нахлебается через край, на своей шкуре испытает заокеанские прелести, разочаруется, заностальгирует, взмолится и вернется эдаким виноватым. А может быть, и не вернется, он же все-таки даровитый парень, что зря-то скоморошничать. Богата Россия талантами! И вот загремит на весь мир копилинская гитара, и будет он с зубастыми парнями улыбаться с пластов и пакетов, и публика будет визжать с первых же его аккордов и будут кричать ему «сенькью!» и боготворить, называя «Супер Коп!» Главное для него — школа профессиональная, чтобы наивысшего мастерства достичь, ну и второе — техническое оснащение, чтобы на разных новейших инструментах счастье испытать. Чтобы, как поры после бани, раскрылись копилинские потенции. Искренней желания не бывает. И пусть себе едет. Не будь его, что переменился? Никаких убытков, никаких трагедий и катастроф. Не застонет отчизна.

Вот он — возит по всей стране гитару и приемник с короткими волнами, и находятся желающие — слушают, и от этого смотрится вся эта история нелепо, грустно, убого. Жертва Копилин или герой — никто в этом не намерен разбираться. Повествует он об Америке, играет и поет, но никому мечту свою вслух не высказывает. Томится и ждет.

Чуда, что ли...

КОЛДОВСКИЕ ЗАМОРОЧКИ

У старых колдунов есть традиция: по свежему снежку, обычно осенью, отправляться в уединенное равнинное место, чтобы зарядиться природной колдовской силой на четыре времени года. Хотя я и не старый (по внешности) колдун, но и мне что-то стало не хватать природной могучности (чисто колдовской термин), вот почему, совершив положенные приготовления, отправился я на Бисово поле рано поутру. Шутки в сторону! Это засекреченная точка совсем недалеко от места моей прописки и входит в данный мне регион деятельности. И все колдуны (невзирая на степени) обязаны у меня испрашивать позволения побывать на Бисовом Пятаке — очень живописный бугорок среди поля. Как раз позавчера я позволил соседнему совсем дряхлому колдуну посетить Пятак. Он хороший профессионал, но памятью страдает, не может забыть исторические гадости, — а в нашем деле положено иметь полную власть над головным мозгом. Я ему: «Дятел ты мой любезнейший, — это код его фамилии, — давай я твой регион буду курировать, все равно ведь не справишься. Признай меня опекуном». Старик не хочет. А мне от его региона и проку никакого нет. У него там такое жуткое запустение, такие призывы и лозунги — повторять нельзя. Ну и пустил я его на Пятак, все равно не поможет. Тьфу, не взглянуть бы! А на другой день на меня самого слабость нашла. Будучи колдуном радостным, я часто устраиваю в своем регионе чудесные деньки, и осень в этот год у меня вышла истинно колдовская, надеялся я, что она чудотворно подействует на вверенных мне жителей — увеличит количество красивых поступков. И вот вчера подсчитываю: сколько жителей смотрело этой осенью на луну, и увеличилось ли потребление чая (колдовское зелье). И что получается! 53 человека чуть было не посмотрели на луну — но им помешали чисто исторические моменты. Они оказались вовлечены в разоблачение деяний покойников, и в них проснулось жуткое сладострастие к исследованию жизни и поступков вождей, имеющих обыкновенную людскую сущность. Но это бы ладно, я еще

могу с этим как-то бороться. Но вот чай! Хоть бросай всех на произвол строительства утопизма, но потребление чая резко понизилось! Нет, продано было по плану, но разве это чай? Там, в этих государственных пачках, не просто палки и вторяки, а самые обычные опилки! Я не выдержал и одного начальника-снабженца переехал силами троллейбуса, двум номенклатурщикам послал инсульты, а Папе города сделал разрыв геморроидальной шишки. И у меня опустились руки. Какая тут радость, черт возьми! Столько чудных деньков, прорва усилий — и все человеку под хвост! Нам, колдунам, нельзя гнаться: во-первых, сбой в атмосфере, во-вторых, благодушие растрачиваешь — а на него строгая месячная норма. И естественно, ничего хорошего от меня ждать не приходится. Вот я и отправился за могучностью на Бисово поле. И по дороге у меня настроение стало улучшаться. Я даже с часок постоял одиноким деревом над обрывом у реки, послушал разговоры птиц. У них тоже новые проблемы, слышать не хочется...

Иду далее, смотрю, мой старый колдун лежит в виде еловой шишки. Не дошел, значит. Поднял я его, обдул, обогрел в кармане. Ну что, говорю, Дятел ты мой любезнейший, сам пойдешь или донести тебя? Расшелуши меня, говорит, и развей по Бисову полю. Совсем дошел бедняга. Я его вообще-то понимаю. У него регион юго-восточный (наши границы не совпадают с государственными), и там не то что на луну, там люди в колодцы и то не засматриваются, там травинки уже лет пять в задумчивости не жуют, не говоря о настоящих фантазиях. Исповедался он, пока я его нес, наслушался я так, что уши опухли. Просит он, найди ему замену и развей его. И взамен обещает Бисово поле охранять. Пожалел я Дятла любезнейшего, расшелушил шишку и ввел его данные в память всех земных стихий. Пусть погуляет вволю. Заслужил старик.

А сам взялся за дело. Окропил вокруг себя снег струйкой мочи, обнажился по пояс, сел, как у нас положено, в круг, и тут-то смотрю в глаз заднего видения (я им вообще-то не часто пользуюсь), вижу — этот самый знакомый марксист новейшего толка.

Дьявол меня заберит! — выследил! Потерял я колдовскую бдительность, пока Дятла любезнейшего исповедовал. В такую глупую ситуацию попал — ни назад, ни вперед. Обряд-то уже сделан, колдовской процесс начался, и мне двигаться нельзя. Ладно, думаю, придется потом из него водосточную трубу сделать — такой свидетель на Бисовом Пятачке — это же нонсенс! Смотрю, он, значит, делает то же, что видел: пишет вокруг себя и раздевается. Ну погоди, думаю, будешь ты у меня плевательницей в тубдиспансере. А тут и процесс полностью мною овладел, ушел я в заоблачные дали, нанюхался там натуральных запахов вволю, побывал в чем душа захотела, посмотрел на свои и чужие итоги, и благодушием наполнилось сердце мое, свежая могучность окрылила меня. Встал я просто заново рожденным. А прошло часа два. Смотрю — марксист сидит, и кожа цвета синего. Он уже и не колотится, из носа две сосульки свисают. Оторвал я их, плюнул ему на темя, шепнул пару ласковых словечек и сделал из него на первый случай статуэтку вислоухого кролика, сунул ее в карман, иду, размышляю. Этот марксист давно ко мне подъезжал. Допускает он, понимаешь, существование потусторонних сил. Сам единица номенклатурная, а все около меня вертелся и подозревал во мне колдуна. Метался в неверии. Так что в конце концов крестился, но работу не бросил. Это очень длинная история. Его то жаль было, то смешил он меня, да и, бывало, через него я свои колдовские дела проворачивал (в связи с последними методами колдовства). Просит он меня из кармана — научи чертову делу. Поганец, говорю ему, узнай, что колдуны — это не черти и не люди, и если ты хочешь служить дьяволу, то с успехом этим занимаешься не один год. Мы же никому не служим. Мы — стихия. Мы воля песка и ветра. Так что ты пришел не по адресу. Устал, говорит он, безмерно, разуверился вдрызг. Помогите мне, и я тебе импортные продукты буду доставать, прямо на дом. Я задумался. Конечно, не о продуктах, хотя и у меня с ними сложности. Вспомнил я о Дятле любезнейшем. Регион-то его пустует, а кандидатуру туда трудно найти, а если я из него сделаю водосточную трубу, то ведь

ее все равно растащат — я делаю все качественно, а жечь сегодня дефицит. Да и трудно устоять мне против такого накала добродушия — зарядился на Бисовом Пятаке на славу! Была не была, думаю, попробую. Сделаю ему потрясение сознания, посажу на диету, покажу обратную сторону Луны, введу в него хорошую дозу 13-го чувства, научу колдовской усмешке, а там посмотрим, может и к нему спустится К. Б. (колдовское безумие). Не только же из-за подлой корысти он за мной шпионил... Ведь совсем недавно мне удалось из самого Папы города сделать кающегося грешника, отчего ему до сих пор нянтся те ботинки и сапоги, что он не сносил, не имея на то никакого исключительного права. Да и что придумаешь, если сегодня беззубье такое, что и колдовской властью поделиться не с кем.

ЗАТРАПЕЗНАЯ РЕКЛАМА

(информация для вымирающих хиппи)

Граждане хиппи! Вас мало теперь туется на российских просторах. Но вы еще есть, хотя вас сегодня легко спутать с бичами и бомжами: так вы поизносились и поистаскались. Вы, вечно голодные и полуодетые, протестующие против денег и псевдокультуры, берите ноги в зубы и автоостопом и на халюву отправляйтесь в Оптину пустынь, что в трех шагах от древнейшего города Козельска. Городишко, нужно сказать, зачуханный, так как находится в регионе, называемом сердцем России. И если судить по Козельску — то сердце у России совсем ни к черту, того и гляди лопнет. Но вы, стойкие хиппи, бегите мимо, прямиком через сосновый бор вдоль реченьки Жиздры к монастырским воротам. Там вас всегда будут встречать бородатые вахтеры и белокаменные стены, и если вы не будете пьяны или под иным шафе — дорога к храму вам будет открыта, и вы войдете в него со спертым дыханием в груди. Молитесь, хиппи, если у вас будет на то желание.

Как только наступит весна, берите свою нищенскую суму и приходите с миром. На берегу речки Жиздры вы можете разбить палатку, вам дадут

матрасы и одеяла, и вы положите свой кирпич в здание реставрации старины. Вы будете трудиться в меру желаемого, и вам будет отдаваться по труду. Вы будете гулять по окрестностям, ходить в скиты, где бывали Толстой и Достоевский, Гоголь и еще кто-то. Вы будете пить вволю из святого колодца и станете жизнерадостными и веселыми. Вечерами вы сможете прошвырнуться в Долину любви. Там замечательно, почти Чудское озеро, вокруг которого дремучие ели и березы. Вы разведете костер и будете слушать его треск в абсолютной тишине, и вечность опустится на ваши плечи, а ваше сознание наполнится высокими мыслями. И вы вернетесь в свой шалаш над рекой совершенно иным человеком. Вы омоешь водами Жиздры при закате солнца, и его лучи осушат ваши загоревшие тела. А мощи святых старцев помогут вам обрести жизненный стержень. В монастырской лавке на последние деньги вы сможете купить древние книги и все, что интересно даже неверующему человеку. А в музеях Чехова и Толстого вы поймете, что не только хиппи бунтовали против псевдокультуры и денег и искали ответы на вечные вопросы.

Вас будут ждать неожиданные знакомства, и вы можете стать звездой телевизора, и, быть может, даже буржуазные зрители смогут оценить ваше мировоззрение. Монастырская братия рада будет вступить с вами в любую дискуссию, а многочисленные паломники и паломницы научат вас правилам хорошего тона.

Но самое главное — отныне вам не будет нужды заботиться о хлебе насущном! Вы будете сыты! Дверь в трапезную открыта для всех, кто вымыл руки. И хотя монахи часто постанут, вы сможете вдоволь наесться земных злаков — и все это гораздо вкуснее, чем в лучших московских столовых. В трапезной поют — перед едой и после. И вы можете петь, нагуливая аппетит и благодаря бога за то, что вы съедите или уже съели. Представьте — вы будете питаться три раза в день! Ваш организм, не привыкший к таким нагрузкам, будет вначале возмущаться, но ничего — природа человеческая наигибчайшая из всех, вы тоже привыкнете, и в положенное время ноги сами понесут вас к трапезной — наизамечатель-

нейшему месту Оптинского монастыря. Невзирая на социальные бури, общественные потрясения, вы вдруг со временем почувствуете, как на вас сойдет великая благодать, и этот райский уголок земли представит вам клочок мирной суши среди беснующихся в хаосе волн. И быть может, кому-то из вас захочется сменить свой хипповый наряд на одеяние смиренного послушника. И тогда только от ваших стараний зависит — сможете ли вы стать колоритным советским монахом, отделенным от государства.

Оптина пустынь — эта великая российская тусовка — не отлучит вас от себя, усталые и вымирающие хиппи! Прощай неторкающий и обесилевший кайф!

К ИЗОБИЛИЮ!

«Питание является одним из основных условий существования человека, а проблема питания — одной из основных проблем человеческой культуры. Количество, качество, ассортимент потребляемых пищевых продуктов, своевременность и регулярность приема пищи решающим образом влияют на человеческую жизнь во всех ее проявлениях».

На краю города возле трех вековых сосен живет сумасшедший учитель. Говорят, что он преподавал в институте. Он еще совсем не старый, но никогда не был женат, и его квартирка похожа на заброшенный овощной склад. То, что он не доедает, лежит и киснет на полу, но, к странности, у него не водятся крысы, так что постепенно остатки пищи мумифицируются и становятся отличными экспонатами для будущих археологов.

Раньше я к нему заходил из сострадания, а теперь вот решил забыть его навеки, ибо какой толк от этих визитов, которые кончаются и начинаются всегда одинаково:

— Если бы ты знал, друг Горацио, сколько на свете вкусных вещей, которых никогда не видели советские дети!

И он начинает перечислять: шоколад, мармелад, кукурузные палочки, слоеные конфеты, бананы, урюк, золотые дыни, плоды манго, желтые груши, сладкие сливы, праздничные ароматные торты — в этом месте он

обязательно перечислит двадцать три наименования мороженого и переходит к более существенным блюдам. При этом он приподнимается на цыпочки, смотрит в небо и не говорит, а выпевает каждое слово:

— Салат из дичи, из зелени с дичью, винегрет с консервированным мясом, икра осетровых, осетрина, белуга, севрюга, заливной судак, студень говяжий, фрикасе, форшмак...

А когда он переходит к прозрачным супам, я уже на него смотреть не могу, он весь дрожит, запинается, так что все это напоминает некий сладострастный акт. Я только слушаю его горячий прерывистый шепот:

— Прозрачный мясной... бульон, бульон с фрикадельками... бульон с клецками из кур... бульон-борщок...

Меня самого начинает одолевать это его сумасшествие, и я уже вздрагиваю, когда слышу:

— Нельма в белом вине, осетрина на вертеле, раки в пиве, крабы, запеченные в молочном соусе...

Он переходит к мясному разделу, и я закрываю глаза, а в мозгу бьются его безумные, невообразимые слова:

— Отварной рубец! Мясо с айвой! Чанахи! Долма! Ромштекс! Антрекот! Лангет! Шашлык по-карски!

Перейдя к дичи, мы уже оба одержимо скандируем:

— Кролик жареный! Чахохбили из кур! Цыпленок на вертеле! Котлеты пожарские! Заяц, тушенный в сметане! Вальшнеп, бекас, цирок, перепел — румяные и жареные!

Все! Кажется, еще минута — и я не смогу выйти из этого кулинарного пике. Я бросаю вон, а в спину мне вонзаются выкрики сумасшедшего преподавателя истории КПСС:

— Шпинат с гренками! Молодой картофель в сметане! Пирожки с грибами! Ромовая баба!

Чуть живой, изможденный, я приплетаюсь домой и требую суфле из цветной капусты и черепашьих мозгов. Жена вяло машет рукой и плачет. Зная мой твердый характер, она выставляет на стол все, что есть в холодильнике, и я со слезами на глазах упорно пережевываю эту первобытную пищу, проклиная всех преподавателей истории КПСС. Два следующих дня я маюсь животом, который поет мне о говяжьих бульонах, колбасе за

рубль двадцать, отдельном зелье, свиных рылах, кошачьих мозгах и спинках перемороженного ментая. Наш домашний бюджет подорван, продукты выброшены на ветер, дети голодны, аппетита нет, у жены мигрени, так что к сумасшедшему учителю я больше не ходок.

ПОЛИГОН

В своей жизни Максим много терпел, мыкался, наделал массу мелких преступлений, но вот однажды явился с повинной и пополз выпрашивать снисхождения.

Ему хотелось жить, и он полз по глубокой колее и упоенно шептал выходящие из глубин плоти слова:

— Вечный сын народа, его великий труженик и солдат, вы всегда были там, где труднее, вы возглавляете самый благородный фронт. Ваши выдающиеся качества, замечательные человеческие черты снискали нашу любовь, вы неутомимый борец...

Максим устал от поисков смысла, и так ему сделалось покойно, когда ползешь себе, имея впереди хоть какую-то цель. И вот он увидел чью-то спину и пятки чьих-то ног и обрадовался: он не один.

— Вы светоч и надежда, — воодушевился Максим, — мы гордимся, что живем с вами, ползем по этой чудной колее! С чувством большого восхищения мы ежечасно убеждаемся, что нет ни одной отрасли науки и культуры, где бы не отразился ваш творческий гений...

Тут его тронули за плечо, и Максим взглянул вверх. Человек со скорбным лицом участливо сказал:

— Он тебя слышал, ему было очень приятно, он благодарен, но он умер.

Человек заплакал, сморкаясь в платок. Заплакал и Максим.

— Что же теперь?

— Незаменимых нет, ползи — и, может быть, успеешь.

И под завывание толпы Максим ткнулся носом в колею, которая все углублялась и расширялась от усердия сотен тысяч людей, не желающих жить без хоть какой-нибудь цели. Он полз в жирной грязи и уже громко говорил, представляя, как достигнет своего назначения:

— Какое счастье для меня и для всех нас идти по таким историческим путям, где раньше не ступала нога человека, бороться за правое дело под водительством такого организатора побед, каким является вы, наш родной, горячо любимый! «Наш путь станет райским садом!» — считывал Максим слова со стен и верил. — Вслед за вами мы беззаветно следуем на штурм любых препятствий и трудностей. — Максим выплюнул изо рта вонючую жижу. — Корифей! — возопил он, и отовсюду полились сладостные стоны. — Любое ваше задание почетно! Нет выше чести, чем получить ваше одобрение!

Максим дошел до иступления, а грязь дошла ему до подбородка. Он уже ничего не чувствовал. И он уже не хотел укусить белую аппетитную ногу, маячащую впереди. Он знал, что такая преданность не останется незамеченной и будет вознаграждена сполна.

— Нет в мире слова более авторитетного, чем ваше! Нет в мире человека, равного вам! Вы влияете на ход развития всего земного шара! Эта дорога прекрасна, восхитительна, единственна!

Тут его снова кто-то тронул за плечо и долго тряс. Максим услышал траурную музыку и увидел траурные лица.

— Он вас слушал внимательно, но он умер.

Максим сел в лужу и заплакал:

— Куда же теперь? Будет ли еще колея?

— Будет, — сказал человек-распорядитель и снял траурную повязку. — Видишь — поползли. Ползи. Он простит тебе все грехи, потому что он вас любит и живет ради вас.

И Максим пополз по слизи, тыкаясь в ноги впереди ползущих и переползая через умерших и обессилевших.

— Шлем вам, великому кормчому, свой пламенный сердечный привет, — постепенно разогревал он себя, чтобы снова почувствовать радость устремленного человека. — В вашем лице приветствуем борца, мыслителя, мудрого учителя всего человечества. С каждым вашим вздохом все яснее открывается перед нами величие подвигов, совершенных и совершаемых вами за создание счастливой радостной жизни на земле...

Он считывал, вспоминал и говорил. Он был рад, что в нем самом не возникает сомнений, терзаний и мыслей. Он уже знал, что снова будет траур и вновь надежды, и поэтому, когда его остановили, он не стал выбираться из колеи, сидел и ждал, когда подойдет вертикальный человек.

— Он благодарен, слушал и умер, — прозвучал скорбный референ, — сейчас поползем дальше.

— Мало есть дают, — возмутился Максим, — сил не хватает.

— Ничего, — ответил человек, следящий за ходом движения, — скоро получите добавку.

Максим проворчал что-то, посмотрел на солнце, которое сегодня было особенно жарким, посмотрел на спины ползущих, встал на четвереньки и пополз, присоединяясь к хору восклицаний и обещаниям перемен, добавок и райских кущей. Он уже понял, что грехи ему давно простили, и покада он будет ползти, все им будут довольны и у него всегда будет надежда.

А поднявшись на высоту хотя бы птичьего полета, можно было увидеть огромный грязный полигон, на котором по кругу давно уже добровольно ползали счастливые грязные люди. Несколько стоящих фигурок ходили и меняли манекенов, и длинная вереница спин устремлялась к новым корифеям, светочам и лидерам, подталкиваемая ветрами перемен, все глубже и глубже уходя в землю.

А если подняться еще выше, то вдали, за нетронутым лесом, кое-кто сумел бы разглядеть тонкую воздушную линию, исчезающую за горизонтом. Но рядом с этой линией никого не было.

ОПАСНЫЕ ЖЕНЫ, ИЛИ КАК СТАТЬ МИНИСТРОМ

Мой друг занимается сочинительством. Он не отзывается, когда его нарекают писателем. И если его не признают поэтом (создателем), то требует, чтобы его называли творцом. Он никогда бы не умер от авторской скромности и потому считает, что нет подобного тому, что он натворил. Я ему не противоречу, но меня самого удивительным образом действуют его книги, они требуют от меня величия, они тянут меня за уши

к звездам, и если по правде, то я уже не верю, что человек живет ради хлеба или детей, а после его смерти останутся только стоптанные тапочки. Я становлюсь совершенно иным, и однажды две женщины видели, как с меня сползала рыба чешуя, — они собрали ее в пригоршни, долго варили, получился отличный холодец — и они его ели, в надежде быть здоровыми и красивыми.

Впрочем, речь сегодня не обо мне, не о чудесах и даже не о друге. Сегодня мне хочется отметить добрым словом жену друга — потому что, быть может, она его лучшее создание, т. к. нет ни одного свидетеля, способного утверждать, что она действительно жила на свете до встречи со своим мужем. И у меня ничего не выйдет, если я начну описывать ее: во-первых потому, что я-то уж точно не писатель, во-вторых, и без меня хватает фотографов, в-третьих, какая женщина может быть удовлетворена своим портретом, если вы всего лишь художник, а не сам господь бог или муз, которые ее создали.

Поэтому я расскажу о министре культуры. Как вы знаете, моего друга печатать не собираются никогда. И он уже смирился со славой после своей смерти. Он надеется вкусить ее плоды по двадцать третьему своему пришествию. «Тексты станут довольно банальны, но аромат души еще не успеет увянуть», — говорит он, когда соседи требуют, чтобы он сел с транспарантом у дверей Союза писателей.

Но он сам давным-давно приговорил Союз писателей и не видит возможности сидеть у его дверей, которые, в принципе, уже не существуют. Но еще в относительно древние времена, когда министром и не пахло, жена друга ходила по людям культуры с надеждой, что они дадут хотя бы на хлеб, на детей и на тапочки. По пятьдесят рублей с каждого второго — это же немного, если учесть, что у людей искусства всегда есть левый доход. Она, конечно, не просила у них денег, а всего лишь хотела заинтересовать книгами, дабы как-то образом ознакомить духовно-изголовавшееся население с процессом, которому, и по моему мнению, нет равных. Но ей всюду не давали и копейки. Всевозможные деятели гнали ее палками, на нее топали ногами, ее оскорбляли и натравливали

на нее собак. Она часто возвращалась со следами побоев и укусов, но не сдавалась, говоря: «Вот у этого еще нужно побывать, он производит впечатление нормального человека». И она шла вновь и вновь разочаровывалась. «Эта планета, — говорила она в минуты разочарования, — вотчина дьявола, и все красивые люди — самоубийцы». У нее достаточно оригинального мышления, и если она говорит кратко, то это всегда звучит как приговор. Хождения не прекращались, ее мужу пришлось даже ликвидировать одного столичного режиссера — так он ее обидел. Этот режиссер умер, а его место тотчас занял другой (свято место пусто не бывает), и она пошла к нему. Если бы он знал, кто к нему пришел!

Она поймала его, энергичного и шевелюристого, у дверей храма культуры. Они так и беседовали в дверях. Она принесла ему чудесную пьесу, которую с жадностью проглотила бы вся московская элита. Но режиссер был сыт. Он только что отобедал. И он сказал, что ему некогда, и какого черта эту задрипанную пьесу принесли именно ему, а не второму режиссеру, например? Она ответила, что второй — это глупый и толстый неандерталец (я заранее оговорюсь, признавшись, что на самом деле события разворачивались в другом учреждении и ни на каких нынешних министрах у меня нет и намека), и она говорила, что у главных режиссеров никогда не будет времени, тем более читать уличные пьесы. Она ему все популярно разжевала. И то ли театр этот больно зачуханный, то ли режиссер переел за обедом, но поступил он довольно опрометчиво, он сказал, что если и возьмет пьесу, то она будет лежать у него год, может два, а может, и столетие. «Хотя нет, — добавил он, — я ее читать все равно не буду». — «Не будете?» — «Не буду». И режиссер упился своим безобразием, использовав его в качестве десерта. Тогда она взяла папку и вот этой невинной папкой съездила ему по уху. Конечно же, она сделала это в своем воображении — очень уж ей хотелось всеозоного разбирательства, а на самом деле она всего лишь сказала ему пару официальных слов, а затем приговорила к вечной закомплексованности.

Режиссер пытал своим обычным

красным цветом, и, конечно же, мой друг не остался к нему равнодушен. Он широким жестом подарил режиссеру еще толику агрессивной энергии, чем и преподнес своей жене приятный сюрприз. Дело в том, что в нашем царстве очень мало людей, встречавшихся с относительно живыми министрами, а работа министра тяжела и бессмысленна. Вот и захотел мой друг убить двух зайцев без выстрелов. Он это сделал блестяще. И жена его осталась довольна, и честь его не пострадала, а уж я посмеялся вволю. Я только опасался, что такой человек на подобном посту может делать не очень обдуманные поступки, особенно если переест за обедом. Но друг меня успокоил: дескать, сидит он временно, т. к. всем давно известно, что, по крайней мере под луной, ничто не вечно. И от этих заверений мне снова стало тепло в тапочках моего друга, я подумал, что бог с ним, с этим вымышленным министром, лишь бы все следующие карьеристы знали, что колы они претендуют на какой-то пост, то пусть будут готовы отвечать публично за все свои невымышленные поступки и хотя бы потактичнее принимают гостей, тем более если это жены создателей, которые при всех своих безобидных размерах запросто могут сделать из вас южноамериканских попугайчиков. Есть одна народная, хотя и грубоватая, поговорка, ее любил повторять мой несчастный командир роты: «Не делай пи-пи против ветра!» И я добавлю: будьте бдительны, господа будущие председатели, зав. завы, министры и прочие любители вкусно пообедать!

**РОЗА, БЕРЕЗА, МАК,
ВАСИЛЕК, КАШКА,
РОМАШКА, АЛЫЙ ЦВЕТOK
(интермедия)**

*Действующие лица:
семеро друзей,
маленький человек,
периодический гул.*

Посредине сцены стол. Семеро мирно пьют чай.

Первый. Все как-то не так вышло. Надеялись на взлет человеческого духа, а всюду один мордобой. Я ду-

маю, что чем дальше, тем хуже будет. Видите ли, пока человек пробиивается к власти, он затрачивает весь свой умственный запас, если таковой, конечно, имелся в наличии. Я вот все хочу понять...

Пробегаёт маленький человек, размахивая руками, кричит: А-а-ст-еивать, а-а-ст-еивать, несомненно а-а-ст-еивать!

На сцене остаются шестеро.

Второй. Хороший человек был. Все чего-то понять хотел. Я вот тоже в последнее время думаю, как это у нас получается, что такая огромная страна то голодает, то холодает. Мы стали как заговоренные, что только не предпринимаем, а в подвездах вонь, на прилавках тухлятина. Чай вон — и тот из опилок. А ведь я работаю, недосыпаю. Кто пожирает мой труд? Не пора ли начать разбираться. Я вот тут приготовил...

Пробегаёт маленький человек, кричит: А-а-ст-еивать, а-а-ст-еивать и а-а-ст-еивать!

Раздается гул. Остаются пятеро.

Третий. Интересный человек был. Все что-то высчитывал. А у меня руки опускаются. По ночам выстрелы снятся, в голове гул. К врачу обращался. А он говорит, что это бывает и легко вылечивается, но сейчас лекарств нет. Потерпите, говорит. Я терплю. Но невыносимо видеть, что творится в нашей медицине. Не удивительно, что люди идут к колдунам. Лучше заплатить какой-нибудь бабке, чем своему же убийце. А вчера я узнал, как лечат наших высокопоставленных чиновников, так я вам скажу...

Проносится картавый человек, кричит: А-аст-еивать! а-а-ст-еивать! немед-енно а-а-ст-еивать!

Гул нарастает. Остаются четверо.

Четвертый. Вам не кажется, что нас остается все меньше и меньше? А ведь раньше сколько было интеллигентных людей! Красивые, гордые, честные люди! Нынешние так называемые интеллигенты им не чета. Да и какое сейчас образование, если они самого Гегеля поставили на голову и говорят, что так правильно. И все теперь вверх ногами. Но, правда, есть еще ребята думающие, трудно таких оболванить. Вы представляете, что мои студенты вчера сказали про...

Вбегает маленький человек, кри-

чит: А-а-ст-еивать! а-а-ст-еивать, непременно а-а-стеивать!

Гул усиливается. Остаются трое.

Пятый. Вам не кажется, что что-то гудит? У меня теперь, где бы я ни находился, в ушах один гул. Наверное, на пенсию пора. Отгуделся. Сегодня вдруг такая тоска напала, легничком и жить не хочется. И вдруг слышу — сердце бьется — так равномерно и загадочно. И до того обидно стало! Какая сила вложила в меня это чудо? И что — ради того, чтобы из меня сделали последнего труса! Знаете, захотелось пойти и плюнуть представителю власти в рожу, чтобы умереть человеком. Я это обязательно сделаю...

С громким криком пронесится человек: А-а-ст-еивать! а-а-стеивать и еще аз а-ст-еивать!

Гул неистовствует. Остаются двое.

Шестой. Вот уже и поговорить не с кем. Вывели нашего брата. Давай и мы с тобой прощаемся. Если по правде, я решил сам уйти, не дожидаться. Ведь это же гнусно: работать на них. Понимаешь, в чем здесь дело — получается, если добиваешься справедливости, то тем самым способствуешь продлению и укреплению этой системы. Ты ее заставляешь приспосабливаться. И не дай бог раскрыть кому-то глаза — это будет приношением новых жертв. Им же нужно кого-то есть. Только полное бездействие может их парализовать. Я должен успеть сам, понимаешь? У меня уже все готово, мне нужно только дотти до их красных стен. Я пошел. Ты не провожай меня...

Пробегает человек: А-а-стеивать! без п-омед-едния а-а-стеивать!

Ужасающий гул. Остаются один.

Седьмой. Наверное, я сумасшедший. Не зря же на окнах решетки. Что со мной произошло и где я? Какой сейчас год, зима или лето? Почему я такой старый и где все? Я же помню — кто-то был, что-то было... Но что же? Да-да, здесь кто-то бегал. Бегал и кричал. То ли ребенок, то ли дурак. Нет, это я сумасшедший. Здесь никого нет, я один и воет ветер. И кто-то бегаёт. Наверное, тоже больной. Нужно его поискать. Его обидели, я знаю. Его обидели в детстве. У него травмировано сознание. Оно перекошилось, и он все вре-

мя кружит. Нужно ему помочь. Нужно его пожалеть, успокоить. Нужно, чтобы он рассказал о своем детстве. Ему станет легче, он не будет кричать. Ну где же ты, бедняга, ну иди сюда, не бойся, мы вместе попробуем...

Вбегает маленький человек: А-а-ст-еивать! с-очно и апе-ативно а-а-ст-еивать!

Гул безумствует. Маленький человек остается один, он вслушивается в этот страшный гул, беспокойно озирается и плачет.

Маленький человек (плача): А-а-сте-е-ы, кото-ых ждало все п-ог-ес-сивное человечество, оказались нап-асными и п-еждев-еменными. А-а-сте-ивать больше не нужно. Никогда! Ни за что! Человеческая жизнь — священна! Никому не дано а-аспая-жаться ею! По-а любить человека! По-а ст-оить новую жизнь, где каждый сможет а-а-ск-ыть все свои та-анты. Давайте начинать любить, бе-ечь и быть к д-уг д-угу тей-пимее!

Гул перерастает в дикий рев. Кажется, что это гигантский минотавр торжествует свою победу. Но вот в этом реве появляется какой-то ритм. И постепенно, выделяя каждую букву, четко и ясно гремят слова:

Расстреливать! Любить! Беречь и Расстреливать!

Маленький человек исчезает. На его месте оказывается огромный гроб, усыпанный лепестками ромашки, веточками березы, бутонами роз, букетами из алых цветов, маком, кашкой и васильками.

ЧУДОТВОРЕЦ

В нашем районе объявились движущиеся чудеса. Я потому их так называю, что никак не возьму в толк: почему НЛО — это неопознанные летающие объекты, почему — не субьекты? Кто взял, что они летают, а не ходят? И самое главное — кем они не опознаны? Тибетской разведкой? Или нашим руководством? Их зачем-то еще называют тарелками. Насколько должно быть банально и приземисто сознание, чтобы причислить сии творения к грязной посуде! И вот когда это чудо засветилось над моим домом, все соседи пришли и задали мне вопрос: что это было? Я принял свою излюбленную позу и спраши-

вал: «Вы не знаете, почему тонут корабли и падают в море самолеты? Или вам так и не пришло в голову, что деревья — это волосы земли?»

— Не-е, — отвечали соседи, — мы об этом как-то не задумывались.

— А чем же занято ваше сознание?

— Мы все больше по примитивизму тащимся. Мясо, молоко, забор да запчасти.

Я подумал, что тогда им можно сразу дать ответ, все равно они его на другой же день забудут.

— В самолетах и на кораблях находятся люди, вот они и нужны океану для анализа. Хочется же ему знать, как идет процесс, выявить, что мы поняли, как развиваемся, не нужно ли наштормить или натайфунить, нагнать дождей, чтобы изменить климат и нас с вами.

— Хорошо говоришь, — сказали соседи, — а как же движущееся чудо?

И они хитровато улыбались. Они любят так вот, по-мужицки, лукавить, как это делал Лев Толстой.

— Оно не только движется, — я тоже лукаво улыбнулся, — но еще и светится. А что еще может светиться, как не жизнь.

— Ну, это мы знаем. Слыхали про инопланетян. И что они наших забирают, тоже слышаны. Также небось на анализы?

— Ничего себе, какие вы любознательные! — театрально воскликнул я, и соседи загорелись от скромности.

Я их быстро потушил и говорю:

— Нет, братцы, светятся чудеса, потому что это сгустки новой жизни, это души умерших сбиваются для будущего, чтобы, когда вы умрете, заменить вас.

— Понятно, — сказали соседи, — а при чем здесь волосатые деревья? Неувязочка выходит. И неужели ты хочешь сказать, что мы вши, которые бродят среди волос?

— Окститесь, — устыдил я их, — разве я похож на мизантропа? Вы больше напоминаете ножницы, которые стригут эти деревья, или тюремного парикмахера, который запросто может сделать из земного шарика голову зэка. А на самом же деле, вы — та великая тьма, без которой никакой свет не существует. Вы будете смотреть и смотреть на движущиеся чудеса, и от надежды в ваших

глазах они будут все ярче и неуловимей. И чем чаще вы их будете видеть, тем больше станет света, так что в конце концов он высветит все темные закутки ваших усталых душ и подожжет их своим творческим пламенем!

Я говорил так страстно, что они были удовлетворены полностью и тихонько ушли жарить покупные котлеты на своих почерневших сковородках. Но прежде чем уйти, они вознаградили мое красноречие, и к моим ногам были положены свежие яйца, огурчики, сметана, чеснок, пол-арбуза, бутылка кефира, тарелка каши, три ватрушки и даже две вареные сосиски. Спиртное я не употребляю, и соседи это прекрасно знают.

С горем пополам всего этого мне хватит дня на три, а там придется соорудить новое чудо.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ!

Никогда я не напишу этого письма. Оно не получится таким, какие писали великие гуманисты прошедших веков. Отдельный советский человек — это сложное явление, и великим ему быть запрещено. Он может быть передовиком, ударником, иногда депутатом, членом какого-нибудь союза, но всегда просто советским — которому с грудного возраста насветовали, как нужно писать письма. И я не исключение. В гадины застоя я почему-то был слепо уверен, что приеду в Москву и поговорю о боге с Владимиром Семеновичем. Когда он умер, мне был всего 21 год, и я до сих пор, хотя не раз бывал на его могиле и смотрел в глаза его бывших коллег, не воспринимаю его смерть как нечто диалектически-материальное. Больше того — мне все-таки удалось с ним встретиться и поговорить.

Вот иду по страницам и испытываю странное чувство. Оно вам хорошо известно, Александр Исаевич. Многие бы назвали его извращенным — потому что, вероятно, нужно иметь какой-то извилистый склад души, чтобы из года в год с помощью бумаги и ручки пытаться победить пространство и время. Откуда это явление — тайные писцы, изнуряющие себя неблагодарным трудом? Я иду,

а усталость съедает мое сердце. Совершенно зверская, бездонная усталость. Становление в гадины застоя — преотвратительнейший процесс на свете. И тысячи моих ровесников успели только встать, чтобы хотя бы не умереть на коленях. Они погибли, а я вот Вам все пишу, Александр Исаевич...

В году 1984-м мне попалась книжка Вашей бывшей жены. Похоже, это было полуполюгальное издание — вшивая попытка сделать из Вас идиота с помощью когда-то близкого Вам человека. Они это любят делать. И в 1985 году они спрашивали меня, как я к Вам отношусь. А я всего-то читал эту дохлую книжку и знал, что Вы осветили лагерь. Еще они поинтересовались, что я думаю о Высоцком. Прошло пять лет после его смерти, а они напевали его песенки и хихикали. Они интересовались моим отношением к Сахарову, о котором я читал как о взбесившемся параноике-технократе. И все эти три фамилии соединились для меня в один образ. И тогда, в 1985 году, я как-то разом ощутил себя семидесятилетним. Я будто за день-два переварил лет тридцать и с тех пор люблю писать о стариках. Вы математик, Александр Исаевич, Вы смогли мастерски просчитать историческую направленность и потому были уверены в необходимости Ваших трудов для потомков. А я и представления не имею, что такое тангенс или котангенс. И только то странное чувство и интуиция ведут меня сквозь толщу белых страниц.

В своем последнем письме Вы спрашивали меня о состоянии молодой литературы. Я Вам не ответил, Александр Исаевич. Я думал, Вам было бы неприятно узнать, что мы злые. Мы гуманнысты по уставу. Мы просто знаем, как можно выглядеть человеколюбивым. Гадины застоя научили нас этому. Злость и ненависть сидят внутри нас, и мы почти безрезультатно боремся с ними. Мы жили в подлое время, и всякая пакость вошла в нас. А те, кто должен был стать гуманным и великим, не смогли пропитаться жлобством, и я слышал пакостный торжествующий хохот, когда увозили самоубийц в морг. Разве я могу это забыть, Александр Исаич?

Свою злость мы выплескиваем на бумагу. Она не терпит, она чище тех

образов, что возникают на ней, и она избавляется от ненависти, выпуская персонажей шастать по злачным переулкам в поисках нами же предопределенной добычи. И мы, одетые во фракки гуманности, со страхом гуляем среди своих же героев, не застрахованные получить уже вполне реальный нож в спину. Мы считаем свою миссию очистительной и возмизаем по уши в грязь, раздувая из отдельных фактов «предупреждающие» апокалипсисы. Это вошло нам в кровь со времен НКВД, когда подследственным приписывалось рытье тоннелей от Бомбея к Москве и всевозможные покушения на изможденных от всенародной любви вождей. Дурной пример заразителен. И теперь уже мы заставляем своих героев рыть эти тоннели и возбуждаем материю заразиться коричневой чумой. В нас иссяк запас строительного смысла, нам набили оскомину очаровательные энтузиасты, и неизвестно, когда пройдет отвращение от переедания, от всех этих трудовых вахт и праздничных буден. Забудьте о нас, Александр Исаич! Не отвлекайтесь. Если кто-то бежит к цели, то все предметы сливаются для него в однородную массу. И поэтому многие из нас пишут бесцельно, смотрят на бегущих и морщатся, как от изжоги, когда зло поднимается к горлу. А каждая частичка вырванного из себя зла стоит, поверьте, Александр Исаич, толики здоровья и изрядного куска творческих мук. Это очень больно: выставлять себе глаза и поворачивать их внутри себя, где цель так далека и бездонна, что становится жаль обречь этот мир на полное одиночество после своего ухода. Ведь это от нас он ждет человеческого приговора. А мы все так же не настолько гуманны, чтобы посметь вынести его. Нас не мешало бы вырубить шашками, чтобы уже без нас засеять территорию бывшей тайги пшеницей и кукурузой, дабы наконец накормить ворчащее население. Это мы мешаем самозванной власти осуществлять гуманистические планы, мы вставляем палки во всевозможные отверстия — и это так, ради куража или из простого любопытства — посмотреть, что выйдет. Нас уже давно научили смешивать крестьян с рабочими и интеллигенцией. У нас такая мешанина понятий и настолько съедены гуман-

ные ценности, что появляется желание залезть в собачий череп и лаять оттуда на очередную пятилетку.

Мы обречены, Александр Исаич. Наш мозг возбуждается только от ужасов, нас необходимо пинать, чтобы мы заплакали о великом. Нас уже не вышвырнут за пределы социума и не дадут пинка под зад на трапе самолета в Бонн, как рассказывали мне компетентные следователи, с нами научились бороться с помощью Вас — теперь редакторы заявляют, что в долгу перед Вами и отдают Вам весь тиражный объем. И поэтому мы суживаем размеры своих мыслей и тем, чтобы будущим поколениям хватило бумажного места. И порою мы подолгу ничего не создаем, пуская творческую энергию на ветер, в надежде, что, может быть, он унесет нашу проклятую злость ко всем чертям.

Поэтому и я прекращаю переписку с Вами, ибо кто знает, не взбредет ли будущему издателю печатать все то, что мы наговорили бы друг другу.

А что касается моих ответов на вопросы о Сахарове, Солженицыне и Высоцком, то отвечал я примерно так: есть такие люди, которые не носят на груди звезд в натуральную величину и не вытаскивают их из кармана, чтобы поразить чудом, и если ты ничего не знаешь об этих людях, то и без света когда-нибудь увидишь их, потому что это ты сам выдумал их в давно забытом детстве. Так я примерно отвечал, и меня очень хорошо поняли.

ЕЩЕ РАЗ О ФУТБОЛЕ

Многие мои интеллигентные соседи играют в футбол. Он им давно уже надоел, но они продолжают пинать или смотреть, как другие пинают. Они очень искусные игроки, но почему-то больше предпочитают беспрерывно передавать мяч друг другу и постоянно выбивают его за пределы поля. Тогда им бросают новый мяч, и игра возобновляется. Говорят, как-то им удалось забить гол в свои ворота, и они очень радовались. Эта странная игра продолжается не одно десятилетие. И поначалу, увлеченный их интеллигентными манерами, я сам принимал участие в игре — в роли футбольного мяча. Ох как меня фут-

болили! Очень профессионально обрабатывали: и грудью, и головой, и изящной ножкой, я летал от одного к другому, и каждый на прощанье говорил мне вежливое «пardon!». Изловчившись, я все-таки вылетел за пределы этого хитрого поля. И с тех пор мне понятно, почему у нас так приживается культура-поп и писк. И если кому-то интересно и он не боится страстных и громких выражений чувств, я могу заявить, что презираю любого члена Союза писателей, и от этой брезгливости я неисправим. С некоторых пор у нас стало не принято говорить прямо, и вот уже открытые душевные переживания считаются стриптизом. Это потому, что лирика и настоящие страсти обесценивают тряпочные и мебельные идеалы, а старому рабу ненавистны чужие попытки завоевать свободу. Всякий пожилой умный человек невольно подталкивает молодых следовать своему жизненному пути. А что тогда говорить о притерпевшихся рабах! Что они видели, кроме постоянных унижений, разве это не они готовили пищу хозяину и накрывали ему на стол? Сколько раз им приходилось насиловать свои вольные чувства, прежде чем от них остались смутные болезненные воспоминания. Сколько душевных мук они претерпели, прежде чем с готовностью стали отказываться от любых своих очередных «убеждений». «Звездám нет счёту, бездне — дна». Тихий, тихий кошмар!

Но зато они научились футболить. Это единственная отрада для них. У них чутье на непокорные мячи. У них уже нет зависти. Куда там, это все-таки страстное чувство. Они играют на одни ворота, у них нет соперников, и те мячи, что попадают в сетку, превращаются в интеллигентных футболистов. Сегодня они более-менее вежливы и говорят «пardon!». Сегодня их огромный стадион собираются переоборудовать в площадку для игры в гольф. Но игроки остаются прежние. Их некуда деть. Среди них есть до того раздутые «звезды», что ни одна ракета не сможет выдворить их за пределы Солнечной системы. Да это было бы и нехорошо. Так недавно поступали они сами, а теперь еще наивно спрашивают, что случится с великой страной? Они, укравшие у людей слова, которые делают

человека человеком, изображают из себя национальных патриотов и выпускают из себя серый рабский пыл. У них тоска по хозяину. Они без него болеют. Их, конечно, жалко. Но конфликт между ними и нами налицо. Его издавна принято называть конфликтом поколений. И поэтому всем членам нужно уйти и расчлениться, у них и так достаточно кубышек, чтобы прокормиться. Не на этот ли черный день они откладывали? В другом ином случае здесь поднимется такая волна, в хаосе коей уже некогда будет разбирать — великий ли вы детский писатель, или известный поэт какой-то мифической оттепели. За них и так уже стыдятся их же дети, ради которых они якобы строили эту дурацкую действительность. Не достаточно ли лицемерия и макулатуры?

Пора, господа. Молодежь иногда бывает нетерпелива. Она не будет ждать, пока вы соберете все свои письменные принадлежности. Она не станет слушать своих мам, которым вы навязывали свои бредни. И это официальное предостережение. Ибо только последний идиот не знает, что Россией всегда правил Его Величество Русский Язык. Вы не смогли его убить графоманством и убогостью чувств. И только он сможет спасти ваших детей от мясорубки. Дайте ему дышать вольно. Избавьте его от немоты. Зачем вам это идиотское членство? Неужели вы так боитесь умереть с голода? Или вы думаете, что ваша рабская власть сделает вас бессмертными? Или вы боитесь стать простым народом, о котором вы пеклись все эти десятилетия? Будьте людьми, господа. Проигрывать даже выдающимся футболистам полагается достойно. Распустите свою прогнившую лавочку. Ваш товар устарел, он давно покрылся плесенью. Вы вылетели в трубу, вы уже дымитесь, принимайтесь, господа футболисты. Это от привычки к вымыслу вы выдумали, что кроме вас никто не умеет писать и читать. Или у вас прохудилось зрение? Вставьте линзы и посмотрите в окно — вы увидите тысячи новых талантов, которые, к сожалению, вас терпеть не могут. Они не придут к вам в Союз и не разбавят вашу старческую кровь. Они сэберут силы, чтобы избавить страну от ваших залежавшихся и дурно пахнущих продуктов. Адью, господа спортсмены!

Поторопитесь! Секундомер вклучен, и вас ждет финиш!

БРАКОНЬЕР

У меня особое чутье на крупные события. И, в зависимости от моего настроения, становится тепло или холодно. Долгое время я был человеком холода. Он гнался за мною по пятам. В то время как ведущие ученые мира предрекали глобальное потепление, я замораживал громадные географические регионы своими мировоззренческими капризами. И скоро я понял, что от меня зависит дальнейшая судьба планеты. Я стал бороться с мерзлотой внутри себя, и в земной коре произошли разломы, континенты пошатнулись, и я услышал kloкочущий голос магмы. «Есть контакт!» — сказал я, когда невинные города превратились в прах. И меня прозвали странным человеком. А где-то на другой половине мира я увидел свое отражение. Оно было чище и великодушнее меня, и от моего стремления к нему поднимались психологические тайфуны, и дикие народы стреляли друг в друга, создавая земное равновесие. Каждый взмах моей руки грозил новыми катаклизмами и перемещениями должностных лиц. По моей вине тысячи пузатых людей лишились портфелей, откормленные олени стада гибли в морских водах, лопались алмазные резцы и половина урожая картофеля сгнила. Я предугадываю движение масс, и бульканье плазмы не дает мне покоя. Никому неведомо, как скучно знать заранее, что у диктатора родится дочка и случайно отсечет себе палец, срезая цветы с диктаторской клумбы.

Я делал забавные эксперименты, и лед таял, а я пропитывался талой водой, я разбухал от тоски, потому что с превеликим трудом находил новых кандидатов на руководящие посты и перестал встречать светлые головы в сонных колыбелях.

Застывшее время трещало вокруг меня, его ледяные осколки глубоко вонзались в устоявшиеся стереотипы, и мерзлые трупы иллюзий уносило в мировой океан. Я переборщил — наводнения и ливни разрушали демократические новшества, а солнечные лучи беспрепятственно сжигали

патриотические идеи. Население завопило о диктаторе, и я умыл руки.

Я уплыл в свое пустынное государство, и только звери приходили утешать меня. Из их снов я выуживал неведомые образы и складывал их на архивные полки. Я ждал времен, когда освободится хоть немного волшебного места, где их уже не будут отстреливать как бешеных собак. Я нашел себе занятие, и из миллионов тонн воды выбирал самые прекрасные капли. Я наполнял ими свои длинноносые сосуды — и когда усиливались приступы хандры и ярости, я делал один-два глотка, открывал глаза и видел, как с оледеневших домов свисают сосульки, и музыка капли возвращала меня к изнуряющим и желанным трудам.

— Ах ты, злая круговерть! — говорил я птицам, слетавшимися поглазеть на мое отчаяние. — Ты такая разумная и неукротимая. Я восхищаюсь твоими плавными формами и бунтую против твоих сладостных линий. Ты держишь меня в лапах замкнутого круга и дразнишь декорациями звездного неба. Ты хочешь, чтобы я прорыл показательную траншею и пустил по ней мечту, как зайца, за которым погонятся стаи голодных собак. Нет, это не путь утоления вечно-го голода.

И я снова отправлялся путешествовать, заколов окна своего зябкого государства. Меня встречали организованной преступностью и политической трескотней, спующие обыватели катили продовольственные тележки, художникам не хватало красок, и во всех лабораториях лежали образцы будущих промтоваров. В каждом лице отражался завтрашний день и наполнял мое сознание прежней скукой. Древние знакомые удивлялись моему неумирающему облику и иронизировали, говоря: «Не все больные умирают сразу. Подожди, и ты переживешь нас всех». При этом под больными они разумели себя и уже не скрывали своего утомительного убожества. Время книг закончилось, и я научился делать как можно меньше движений — я отключил себя от общенародных процессов — климат стал ровным и сонным, кое-где за мое отсутствие родились светлые головы, что еще само по себе ничего не значит — я тоже когда-то был светлым и кудрявым.

Безо всякой бойни я уступил свое ясновидение очередным честолюбцам и бродил незванным гостем, посягая кости светлых воспоминаний, сожалея, что не наделен зубами, которые могли бы добраться до голого костного мозга. Быть может, тогда открылась бы забытая тайна, и мне удалось бы избавиться от своего нюха на крупные события и сделать такую лихую загогулину, от чего меня бы вынесло за пределы пузатых орбит к моим изломанным мечтам, которые я потерял еще в детстве, когда меня поставили в очередь за социальными идеалами.

... Нагруженный последними событиями и очередными достижениями, я возвращаюсь в свое государство. Я неторопливо перевариваю информацию. Моя лодка врезается в ленивые волны, я закидываю свою чернильную удочку и жду, когда за мой хитрый вымысел зацепится та огромная сказочная рыба — в распахотом животе которой ярко блеснет мое потерянное детское счастье.

РОМОДАНОВСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Вся планета покрыта дырами. Но русская земля особенно. Здесь и маленькие, и большие, и овальные, и прямоугольные, круглые и квадратные. И люди постоянно падают в эти дыры. Временами большими цифрами, порою поодиночке. И на всей планете падают и страдают. Но не знаю как там, а здесь разглядел я у народа особый дар: в короткие сроки выбираться из впадин и пропастей, восстанавливать силы и организовывать себя в стройные ряды. Правда, здесь не научились более важному: подняться так, чтобы не упасть снова в те же или ближайшие дыры. Так почему же? А быть может, для того, чтобы хоть немного новорусский человек жил и думал. И в те трагические моменты, когда он карабкается из впадин наверх, страдает и хрипит, рождается мысль, то драгоценное, что и зажигает веру с надеждой во многих. И этим мне симпатичны русские, которым и я протягиваю руку, заводя в лабиринты творческого царства. Но мне среди них очень тоскливо, мне не хочется смотреть на их потерянные лица, когда они бродят между дыр и не падают. Это

невыносимое зрелище, когда они бродят! Они сыты и счастливы, а у меня тоска! Черт знает что такое! Наверное, нужно посадить меня в тюрьму.

Ладно о русских. За что я люблю китайцев? За их постоянную неутомимость, общую активность, наверное. Я всегда, засыпая, шлю им дружеский привет. А вообще-то я ценю всех, и очень долго учился не желать никому зла, я сочинил молитву и читал ее перед сном, призывая большие и малые народы, всякого человека быть назавтра сдержаннее и не отключать в суете дня те мирные и чистые устремления, которые у всех когда-то были. И мир от этого стал гораздо умнее, что заметно хотя бы мне. Я не хочу зла даже себе, и если меня посадят в тюрьму, я буду проситься обратно, ибо если я и делал не то, что велели и чего от меня ожидали, я всегда вслушивался в эту освобождающую силу, которая когда-то создала меня, ведь разрушать я могу и болтая, а жить способен лишь вот так, да еще по ночам, когда общественное сознание погружено в сон и никакие дурные энергополя не давят на психику.

Сегодня заявлено, что всем предоставлено свободное развитие. Но меня как-то не учили. Общественное устремление направлено в одну сторону, а я куда-то вбок. Как всегда, планирующие на тысячелетия не заметили маленького Хи-хи, способного разрушать гигантские программы. И мало кто способен поверить, что вся чехарда общественных форм длится для маленького Хи-хи — сожалеющего, обиженного, скорбящего, утомленного или скучающего. Я увидел его главным героем, когда нахихикал немало бед угрюмому отечеству, когда не мог смотреть на происходящую глупости без истеричности, близкой к падучей, и когда наконец сам не увидел в себе маленького Хи-хи, чтобы вскоре понять, что он и есть то колыбельное, что может привести к смыслу появления на свет, и именно то единственное из всего многообразия, что не может быть бесполезным и смешным.

И когда я бываю в гостях у своего небесного соседа, он всегда предлагает мне перебраться к нему поближе. Но я смеюсь. И он смеется. Потому что знает, что я давно построил

себе особняк на его великолепнейшем садовом участке. Я застраховал свою бесконечную старость, но у меня еще не иссякло чувство ответственности. Я еще не забыл о трудолюбивых китайцах и помню о дырявой русской земле. И у меня еще есть надежда — что когда-нибудь мой небесный сосед увидит грандиозное зрелище: быть может, мне удастся привлечь внимание бродящего населения к рукотворным вершинам, где столько непревзойденных троп и такое количество неприступных склонов, что каждому достанется по красивой жизни, и, подняв понурые головы, все поймут, что земля давно уже не круглая и у каждого есть шанс стать небесным соседом.

И выходя ночью к калитке, я смотрю на мутные огни заречного города и перебираю слова своей ежедневной молитвы. Я не знаю времени, когда ложусь спать. У меня не ни стен, ни окон, ни постели; мое усталое тело качается в неведомом пространстве, и чужие мечтания проходят сквозь меня. Вот-вот и прежнего уже не будет, вещества придут в желанное движение, легкий смех поселится в космических лучах, и когда-нибудь чей-то временный дом и далекий патриархальный город вспомнятся мне зыбким печальным сном...

Где же ты, город Калуга? Напоминание о моей тупоголовой юности. Гражданин Циолковский и купеческие дворики. Калуга — Марс и мое тихоокеанское детство. Я сожалею, что не провел его на коралловых островах. Я не единственный, кто считает, что не жил первые два десятка лет. Но я видел реку Амур и был сонливым браконьером в ее первобытных низовьях. Там в тягучей илистой воде водится реликтовая рыба калуга, тайна моей судьбы, которой больше нигде нет. Калугу, из породы острорых, во всем мироздании не встретишь. И это она своим субмаринским ночным появлением из черноты крамольной лунки при свете звезд и бесприютном ветре впервые подсказала мне о глубинах настоящей жизни. И с тех пор, сожалея о прошлом, я вижу ее огромное тело посреди заледенелой реки и понимаю всех идиотов мира, а ее острый нос и огромный беззубый рот сняты мне по ночам, когда я засыпаю счастливым.



ЮРИЙ ФЕОКТИСТОВ— ХУДОЖНИК, ПОЭТ, ПЕРЕВОДЧИК

Судьба была неблагоприятна к этому поколению . . .

Люди, родившиеся накануне революции, невольно становились частью «человеческого материала», которым пользовались творцы истории нашего века. Такие понятия, как честь, порядочность, милосердие, талант, становились постепенно не только лишними, но и опасными, губительными. Не всем обладателям этих качеств удалось выстоять, пронести их через свою жизнь.

Сценограф Юрий Николаевич Феоктистов (1913—1977) более четверти века был главным художником Рижского театра русской драмы. Многим памятли созданные им сценические решения спектаклей «Король Лир» и «Макбет» Шекспира, «Воскресение» Толстого, «Человек из Ламанчи» Дэрриона, «Кавказский меловой круг» Брехта.

Сценография — синтетическое искусство, и человек, посвятивший себя этому делу, должен быть не только художником, но в какой-то мере и актером, и режиссером, и даже поэтом. Юрий Николаевич как нельзя лучше соответствовал всем этим требованиям. Сын талантливого журналиста, он уже в ранней юности начал писать стихи. Публиковался. Позже занимался переводами. Переводил Самеда Вургуну, Сакена Сейфуллина. В 1935 г. в Москве в издательстве «Academia» вышел сборник избранных сочинений Я. Райниса, в который вошли 12 переведенных им стихотворений.

В начале 30-х годов Ю. Н. Феоктистов учился в Москве в драматической студии под руководством А. Д. Дикого. В конце концов решил стать художником. Поступил в институт им. Сурикова. А потом . . . Потом он разделил судьбу многих миллионов своих сограждан, по ложному обвинению был отправлен в сибирские лагеря. Затем — война. Во время сражения на Курской дуге он попадает в плен. И снова лагеря, теперь уже немецкие. Маленькие и большие, на родной земле и на чужой. Много лет спустя во время туристической поездки в Польшу на одной из экскурсий он вдруг узнал «свой» лагерь, поразивший его когда-то размерами и монументальностью. Это был Освенцим.

После войны Ю. Н. Феоктистов стал работать в Риге. И именно здесь он обрел, наконец, дом, семью, любимую работу. Годы, прожитые в Риге, стали самыми плодотворными и счастливыми в жизни Юрия Николаевича.

Несмотря на все невзгоды, выпавшие на его долю, он до конца дней оставался очень светлым, жизнелюбивым человеком. И в то же время — легкоранимым, с обостренным чувством справедливости, чести. Он тяжело переживал оледенение, наступившее после оттепели. Увидеть следующую оттепель ему не было дано. Юрий Николаевич Феоктистов принадлежал к числу тех настоящих русских интеллигентов, нехватка которых в нашей сегодняшней жизни становится все более заметной.

Таисия ФЕОКТИСТОВА

ПОБЕГ

К подошвам гор и к берегам озер
В ветрах прибой серебряной полыни . . .
Здесь камни крошатся, как зубы древних гор.
На скалах снег, помет да пух орлиный.
А в травах сизых — красные цветы,
Как крови капли на щеке небритой.
Сурово все. И хочется, чтоб ты
Здесь снова называлась Маргаритой.
Пусть не ромашки, а полыни дух
В кудрях твоих шальных и легких бродит,
Пусть будет голос твой звенящ и сух,
Пусть рыжей молнией взвоятся брови.
Их сумасшедший бешеный излом,
Как символ перевозданности и страсти,
Тебя отметит, милая, и злом
Нечеловеческим лицо твое украсит . . .
Я вижу: хижина, кошачий глаз луны,
Как струйка дыма — белая дорожка,
И смотрят в хижину сквозь узкое окошко
Цветы смертельно-бледной белены . . .

1932

У МЕНЯ

Вы поправите блузку синюю,
Усмехнетесь, не зная чему,
Губы чуточку подкармините
И подниметесь . . . Я пойму.

Вы кивнете мне — «до скорого» —
Иронически, как всегда,
И пойдете к тому, которого
Не полюбите никогда.

* * *

Солнце с ветром. Легкою походкою
Март подходит к моему окну.
За тюремной черною решеткою
Я встречаю милую весну.

И, склонясь над ржавчиной решеточной,
Слышу я иную жизнь вдали
И ловлю сквозь мрак и смрад чахоточный
Запахи разбуженной земли.

О весна, подруга синеокая,
Как страшны железо и гранит,
Как уныло сердце одинокое
За двойною клеткою стучит . .

Справа: одна из сценографических работ Юрия Феоктистова

НЕУСТАННАЯ БОРЬБА

Нет, не последний это бой,
Не время нам трубить отбой,

Борьбы всегда изменчив путь:
Мы победим когда-нибудь.

И поражение, знай же, враг,
Как и победа — к цели шаг.

Пусть в битве падает герой —
Его заменит новый строй.

И где тираны лили кровь, —
Взойдет свободы семя вновь.

Нет, не последний это бой,
Еще не время бить отбой.

Враг вновь готовит нам расправы:
Глаза грядущих битв кровавы.

Чтоб быть отважными в борьбе —
Крепите мужество в себе.

Придет пора — в ожесточенье
Миллионы бросятся в сраженье,

В дыму блеснет и кровь и пламя,
Когда борьбы взвоется знамя.





ДАЙНЫ

Перевела Людмила АЗАРОВА

ПЕСНЯ СИРОТКИ И СВАТОВСТВО

Был свет, было солнышко,
А нынче хмурь, а нынче хмарь.
Был отец, была матушка,
Нынче одинешенька я, сиротинушка я.

На меня гляди — на девицу,
Не высматривай приданого.
День и ночь в трудах сиротка,
А добра не накопила.

Богач сватался к богачке,
Чтоб богатство приумножить.
Я возьму сиротку в жены —
Работницу, разумницу.

Думать не думала, гадать не гадала,
То воля Господня, Боженькин дар —
Бесприданница я, сиротинушка я,
Нынче бояринова невеста.

ПОХИЩЕНИЕ НЕВЕСТЫ

Против ветра, против ветра
Повернем коней горячих,
Пусть не слышит, пусть не прячет
Мать невесту-мукомолку.

Медной сетью, мелкой сетью
Девичью ловлю светлицу,
Белочка моя попалась,
От меня не убежишь.

Все отдам, что обещала,
Желанному, суженому,
Пусть купает жеребенка
В моем чистом озерце.

Девка, девка, жаба, жаба,
Загляденье, объеденье,
У парней, гляди, с порток
Пуговицы сыплются.

Шел я к старцу за советом,
А старик — озорник,
А старик, вот напасть,
Учит-учит девок красть
На ромашковой поляне,
Да в предутреннем тумане.

СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ

Вышла липка,
Качая ветвями,
Дубочек-крепыш
Ворота открыл,
Пожалуй, липонька,
В мое подворье.

Садись, милушка,
Твое это место,
Твой хлеба ломоть
И пахарь твой.

Матушка, беги, спасайся,
Привезли тебе невестку,
Точит зуб и когти точит,
Не вцепилась бы в волосья.

Заходи, катись, кадушка,
За столом торчи торчком.
Отпала родного брата,
Был родной, а стал чужой.

Дочь — деревце-елочка,
Речь — хвонинка-иглочка,
Ей с моею матушкой
И дня не ужиться.

Сулили мне невестку,
Как тихое солнышко.
Явилась — головешка,
Только искры брызжут!

Лайма, Лайма, заступись,
Дверь открой в семью чужую,
Чтоб я первой не ступила
В слезную лужицу.

За холмом трубит труба,
За лесочком кони ржут —
Вот как, матушка, чужачка,
Мои братья подоспели.

Сквозь огонь и воду
Гнался я по следу,
Здесь нашел свою сестрицу,
Здесь останусь до утра.

Ты, жених, пузырь бараний,
Не отдам тебе сестрицу,
Липонька — моя сестра,
Дурно-олуху не пара.

Эй, зятек, где угощенье,
Где же пиво, где же мед!
Не отдам свою сестрицу
За опивки да помом.

Дома и ковриюка
Не лоба сестрице,
У чужих горбушка
Будто медом мазана.

ХМЕЛЬ ВОКРУГ ЖЕРДОЧКИ ЗАВИВАЛСЯ

Вы добрые люди,
И мы не злые —
Как собаки
Облаем друг друга.

Хмель вокруг жердочки завивался,
Хмель смеялся да похвалялся:
Захожу купца, захожу гордеца
В грязной луже да вываляю.

У пива в пене
Ума-разума больше,
Чем у бражника
В голове.

Угощайтесь, братья:
Мясо — объеденье,
Боров утопился,
Козочка подохла,
Три года валялась
В грязи у пруда.

Отдувался, пиво пил
Из немытого бочонка,
На донышке прель да гниль
Да грибы повыврастали.

Ела-ела, похваливала,
Ела-ела, облизывалась —
Ты живую жабу съела,
Только лапки торчат.

Этот день мы прожили,
Этот день мы пропили,
Завтра выйдем в поле, братья,
С сестрицами вместе.

Кто прикажет замереть,
Наши песни запереть!
Ни дверь на запор,
Ни роток на замок.

Пока свадьба гремит,
Забываю я про стыд,
А вернусь домой,
Честь моя со мной,
Честь моя за мной,
Как за каменной стеной.

Не ходи, сестрица,
В яблоневый сад,
Сыплется на голову
Яблоневый цвет —
Не на день короткий,
А на долгий век.



ОТ СЛОВ К ДЕЛУ?

НАЦИЗМ В РОССИИ

Документы, которые мы публикуем ниже, многим читателям скорее всего уже давно известны, хотя ранее они никогда не публиковались в советской печати. Осенью 1986 года разошлись они в тысячах машинописных экземпляров и стали своего рода самиздатовским бестселлером. Это — переписка двух писателей, Натана Эйдельмана и Виктора Астафьева. Справедливости ради, надо сказать, что основная часть скандального успеха выпала здесь на долю Виктора Астафьева. Это именно его ответ Эйдельману потряс читателей. Резко и прямо, с неожиданной откровенностью и с еще более неожиданной грубостью, были высказаны в нем шовинистические взгляды автора и традиционно черносотенные обвинения в адрес евреев.

С тех пор прошло уже более трех лет. К сожалению, то, что в 86 году казалось исключительным или даже невыносимым, в 90-м стало заурядным, обычным явлением. Идеологи нового нацизма типа Шафаревича, черные штурмовики общества «Память» и других, «породненных» с ним объединений, непрерывный поток публикаций фашистского толка, попустители и покровители в МВД, КГБ и ЦК — все это сплетается в тугую клубок, становится каждодневным кошмаром нашей действительности. И пожалуй, если не самая страшная, то уж точно самая позорная подробность этого непрерывного шабаша — участие в нем русских писателей, и не только бездарей и завистников, ни на что другое просто не годных, но и тех, что успели заслужить уважение и любовь требовательных читателей. Именно сегодняшняя ситуация в культуре, как никогда острая и опасная, заставляет нас вновь и вновь возвращаться к этой мрачной теме.

В качестве комментария — и к этим письмам, и к вездущейся сейчас в стране антисемитской кампании — мы публикуем статью московского писателя Юрия Карабчиевского «Борьба с евреем». Статья ранее была напечатана в журнале «Страна и мир», издающемся в Мюнхене и имеющем крайне малый тираж. Для публикации в нашем журнале автор внес в первоначальный текст ряд изменений.

Завершает подборку интервью, данное В. Астафьевым для газеты «Либерасьон».

Н. Я. ЭЙДЕЛЬМАН — В. П. АСТАФЬЕВУ

Уважаемый Виктор Петрович!

Прочитав все или почти все Ваши труды, хотел бы высказаться, но прежде — представлюсь.

Эйдельман Натан Яковлевич, историк, литератор (член СП), 1930 года рождения, еврей, москвич; отец в 1910-м исключен из гимназии за пощечину учителю-черносотенцу, затем — журналист (писал о театре), участник первой мировой и Отечественной войны, в 1950—55-м сидел в лагере; мать — учи-

* Переписка имела место в 1986 году. Натан Яковлевич Эйдельман скончался в 1989 году. — Прим. ред.

тельница, сам же автор письма окончил МГУ, работал много лет в музеях, в школе; специалист по русской истории XVIII—XIX веков (Павел I, Пушкин, декабристы, Герцен).

Ряд пунктов приведенной «анкеты» Вам, мягко говоря, не близок, да ведь читателя не выбирают.

Теперь же позволю себе высказать несколько суждений о писателе Астафьеве.

Ему, думаю, принадлежат лучшие за многие десятилетия описания природы («Царь-рыба»); в «Правде» он сказал о войне, как никто не говорил. Главное же — писатель честен, не циничен, печален, его боль за Россию — настоящая и сильная: картины гибели, распада, бездуховности — самые беспощадные.

Не скрывает Астафьев и наиболее ненавистных, тех, кого прямо или косвенно считает виноватыми...

Это интеллигенты-дармоеды, «туристы»; те, кто орут «по-басурмански», москвичи, восклицают: «Вот когда я был в Варне, в Баден-Бадене». Наконец, — инородцы.

На это скажут, что Астафьев отнюдь не ласкает также и своих, русских крестьян, городских обывателей.

Так, да не так!

Как доходит дело до «корня зла», обязательно все же появляется злоедейский горожанин Гога Герцев (имя и фамилия более чем сомнительны: похоже на Герцена, а Гога после подвергся осмеянию в связи с Грузией). Страшны жизнь и душа героев «Царь-рыбы», но уж Гога куда хуже всех пьяниц и убийц, вместе взятых, ибо от него вся беда.

Или по-другому: голод, распад, русская беда — а тут: «было что-то неприятное в облике и поведении Отара. Когда, где он научился барственности? Или на курсах он был один, а в Грузии другой, похожий на того в с е м надоевшего типа, которого и грузинском-то не поворачивается язык назвать. Как обломанный, занозистый сучок на дереве человеческом, торчит он по всем российским базарам, вплоть до Мурманска и Норильска, с пренебрежением обдирая *доверчивый северный народ* подгнившим фруктом или мятыми, полумертвыми цветами. Жадный, безграмотный, из тех, кого в России *уничтожительно* зовут «копеечная душа», везде он распоясан, везде с растопыренными карманами, от немывтых рук залоснившимися, везде он швыряет деньги, но дома усчитывает жену, детей, родителей в медяках, развел он автомобилеманию, пресмыкание перед импортом, зачем-то, видать, для соблюдения моды, возит за собой жирных детей, и в гостиницах можно увидеть четырехпудового одышливого Гогию, восьми лет отроду, всунутого в джинсы, с сонными глазами, утонувшими среди лоснящихся щек» (рассказ «Ловля пескарей в Грузии», журнал «Наш современник», 1986, № 5, с. 125).

Слова, мною подчеркнутые, несут большую нагрузку: *всем — надоели* кавказские торгоши, «копеечные души»; то есть, иначе говоря, у всех у нас этого нет — только у них: за счет бедных («доверчивых») северян жиреет отвратительный Гогия (почему Гогия, а не Гоги?).

Сила ненавидящего слова так велика, что у читателей не должно возникнуть сомнений: именно эти немногие грузины (хорошо известно, что торгует меньше 1% народа) — в них особое зло и, пожалуй, если бы не они, то доверчивый северный народ ел бы много отнюдь не подгнивших фруктов и не испытывал недостатка в прекрасных цветах.

«Но ведь тут много правды, — воскликнет иной простак, — есть на свете такие Гоги, и Астафьев не против грузинского народа, что хорошо видно из всего рассказа о пескарях в Грузии».

Разумеется, не против: но вдруг забыл (такому мастеру непростительно), что крупица правды, использованная для ложной цели, в ложном контексте, — это уже неправда и, может быть, худшая.

В наш век, при наших обстоятельствах только сами грузины и могут так о себе писать или же еще жестче (да, кстати, и пишут — их литература, театр, искусство давно уже не хуже российского); подобное же лирическое отступление, написанное русским пером, — та самая ложка дегтя, которую не уравновесят целые бочки русско-грузинского меда.

Пушкин сказал: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделит со мною это чувство»; стоит задуматься — кто же презирает, кто же — иностранец?

Однако продолжим. Почему-то многие толкуют о «грузинских» обидах по поводу цитированного рассказа; а ведь в нем же находится одна из самых дурных, безнравственных страниц нашей словесности: «По дикому своему обычаю, монголы в православных церквах устраивали конюшни. И этот дивный и суровый храм (Гелати) они тоже решили осквернить, загнали в него мохнатых коней, развели костры и стали жрать недожаренную, кровавую конину, обдирая лошадей здесь же, в храме, и, пьяные от кровавого разгула, они посваливались раскосыми мордами в вонючее конское дерьмо, еще не зная, что созидатели на земле для вечности строят и храмы вечные» (там же, с. 133).

Что тут скажешь?

Удивляюсь молчанию казахов, бурятов. И кстати бы вспомнить тут других монголоидов — калмыков, крымских татар — как их в 1944 году из родных домов, степей, гор «раскосыми мордами в дерьмо...»

Чего тут рассуждать? — расистские строки. Сказать по правде, такой текст, вставленный в рассказ о благородной красоте христианского храма Гелати, выглядит не меньшим кощунством, чем описанные в нем надругательства.

170 лет назад монархист, горячий патриот-государственник Николай Михайлович Карамзин, совершенно не думавший о чувствах монголов и других «инородцев», иначе описал Батыево нашествие; перечислив ужасы завоевания (растоптанные конями дети, изнасилованные девушки, свободные люди, ставшие рабами у варваров, «живые завидуют спокойствию мертвых»), — ярко обрисовав все это, историк-писатель, мы угадываем, задумался о том, что, в сущности, нет дурных народов, а есть трагические обстоятельства, — и прибавил удивительно честную фразу: «Россия испытала тогда все бедствия, терпелые Римскою империей.. когда северные дикие народы громили ее цветущие области. Варвары действуют по одним правилам и разнятся между собою только в силе». Карамзин, горюющий о страшном несчастье, постигшем его родину, даже тут опасается изменить своему обычному широкому взгляду на вещи, высокой объективности: ведь ужас татарского бедствия он сравнивает с набегами на Рим «северных варваров», среди которых важную роль играли древние славяне, прямые предки тех, кого громит и грабит Батый.

Мало этого примера, вот еще один! Вы, Виктор Петрович, конечно, помните строки из «Хаджи-Мурата», где описывается горская деревня, разрушенная русской армией: «Фонтан был загажен, очевидно, нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена мечеть... Старики-хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы, от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми, и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения».

Сильно писал Лев Николаевич Толстой. Ну а если вообразить эти строки, написанные горцем, грузином, «иностранцем»?

С грустью приходится констатировать, что в наши дни меняется понятие народного писателя: в прошлом — это прежде всего выразитель высоких идей, стремлений, ведущий народ за собою; ныне это может быть и глашатай народной злобы, предрассудков, не поднимающий людей, а опускающийся вместе с ними.

На этом фоне уже пустяк фраза из повести «Печальный детектив», что герой в пединституте изучает лермонтовские переводы с немецкого вместе с «десятком еврейчат». Любопытно было бы только понять, — к чему они в рассказе, если ни до, ни после больше не появляются? К тому, может быть, что вот-де в городе развивается страшный, печальный детектив, а десяток инородцев (отчего десяток: видно, все в пединституте сконцентрирова-

лись? Как видно, конкурс для них особенно благоприятный?) — эти люди заняты своей ненужной деятельностью! Или тут обычная астафьевская злая ирония насчет литературоведения: вот-де «еврейчата» доказывают, что Лермонтов портил немецкую словесность, ну а сами-то хороши . . .

Итак, интеллигенты, москвичи, туристы, толстые Гогии, Гоги Герцевы, косомордые, еврейчата, наконец дамы и господа из литфондовских домов: на них обрушивается ливень злобы, презрения, отрицания. Как ни на кого другого: они хуже всех . . .

А если всерьез, то Вам, Виктор Петрович, замечу, как читатель, как специалист по русской истории: Вы (да и не Вы один!) нарушаете, вернее, очень хотите нарушить, да не всегда удается — собственный дар мешает оспорить — главный закон российской мысли и российской словесности. Закон, завещанный величайшими мастерами, состоит в том, чтобы, размышляя о плохом, ужасном, прежде всего, до всех сторонних объяснений, винить себя, брать на себя; помнить, что нельзя освободить народ внешне более, чем он свободен изнутри (любимое Львом Толстым изречение Герцена). Что касается всех личных, общественных, народных несчастий, то чем страшнее и сильнее они, тем в большей степени их первоисточники находятся внутри, а не снаружи. Только подобный нравственный подход ведет к истинному, высокому мастерству. Иной взгляд — самоубийство для художника, ибо обрекает его на злое бесплодие.

Простите за резкие слова, но Вы сами, своими сочинениями, учите подходить без прикрас.

С уважением,

Н. Эйдельман,
авг. 86.

В. П. АСТАФЬЕВ — Н. Я. ЭЙДЕЛЬМАНУ

*Не напоивши, не накормивши, добра не сделавши —
врага не наживешь.*

Русская пословица

Натан Яковлевич!

Вы и представить себе не можете, сколько радости доставило мне Ваше письмо. Кругом говорят, отовсюду пишут о национальном возрождении русского народа, но говорить и писать одно, а возрождаться не на словах, не на бумаге, совсем другое дело.

У всякого национального возрождения, тем более у русского, должны быть противники и враги. Возрождаясь, мы можем дойти до того, что станем петь свои песни, танцевать свои танцы, писать на родном языке, а не на навязанном нам «эсперанто», «тонко» названном «литературным языком». В своих шовинистических устремлениях мы можем дойти до того, что пушкиноведы и лермонтоведы у нас будут тоже русские, и, жутко подумать, — собрания сочинений отечественных классиков будем составлять сами, энциклопедии и всякого рода редакции, театры, кино тоже «приберем к рукам» и, о ужас! о кошмар! сами прокомментируем «Дневники» Достоевского.

Ныче летом умерла под Загорском тетушка моей жены, бывшая нам вместо матери, и перед смертью сказала мне, услышав о комедии, разыгранной грузинами на съезде: «Не отвечай на зло злом, оно и не прибавится» . . .

Последую ее совету и на Ваше черное письмо, переполненное не просто злом, а перекипевшим гноем еврейского высокоинтеллектуального высокомерия (Вашего привычного уже «трунения»), не отвечу злом, хотя мог бы, кстати, привести цитаты и в первую голову из Стасова, насчет клопа, укусы которого не смертелен, но . . .

Лучше я разрешу Ваше недоумение и недоумение московских евреев по поводу слова «еврейчата», откуда, мол, оно взялось, мы его и слыхом не слыхивали?!

«... этот Куликовский был из числа тех поляков, которых мой отец вывез маленькими из Польши и присвоил себе в собственность, между ними было и несколько жиденят...» (Н. Эйдельман. История и современность в художественном сознании поэта, с. 339).

На этом я и кончу, пожалуй, хотя цитировать мог бы многое. Полагаю, что память у меня не хуже Вашей, а вот глаз, зрячий, один, оттого и пишу на клетчатой бумаге, по возможности кратко.

Более всего меня в Вашем письме поразило скопище зла. Это что же Вы, старый человек, в душе-то носите?! Какой груз зла и ненависти клубится в вашем чреве? Хорошо хоть фамилией своей подписываетесь, не передаете своего отца. А то вон не менее, чем Вы, злой, но совершенно ссученный атеист — Иосиф Аронович Кривелев и фамилию украл, и ворованной моралью — падалью питается. Жрет со стола лжи и глазки невинно закатывает, считая всех вокруг людьми бесчестными и лживыми.

Пожелаю Вам того же, чего пожелала дочь нашего последнего царя, стихи которой были вложены в Евангелие: «Господь! Прости нашим врагам, Господь! Прими и их в объятия». И она, и сестры ее, и братец обезноживший окончательно в ссылке, и отец с матерью расстреляны, кстати, евреями и латышами, которых возглавлял отпетый, махровый сионист Юрковский.

Так что Вам, в минуты утишения души, стоит подумать и над тем, что в лагерях вы находились и за преступления Юрковского и иже с ним, маялись по велению «Высшего судии», а не по развязности одного Ежова.

Как видите, мы, русские, еще не потеряли памяти и мы все еще народ болюшой, и нас все еще мало убить, но надо и повалить.

Засим кланяюсь. И просвети Вашу душу все милостивейший Бог!

14 сентября 1986 г.
село Овсянка.

За почерк прощения не прошу — война виновата.

Н. Я. ЭЙДЕЛЬМАН — В. П. АСТАФЬЕВУ

Виктор Петрович, желая оскорбить — удручили. В диких снах не мог вообразить в одном из «властителей дум» столь примитивного, животного шовинизма, столь элементарного невежества. Дело не в том, что расстрелом царской семьи (давно установлено, что большая часть исполнителей была екатеринбургские рабочие) руководил не «сионист Юрковский», а большевик Юровский. Сионисты преследовали, как Вам, очевидно, неизвестно, совсем иные цели — создание еврейского государства в Палестине. Дело не в том, что ничтожный Кривелев носит, представьте себе, собственную фамилию (как и множество столь несимпатичных «воинствующих безбожников» разных национальностей). Дело даже не в логике «Майн Кампф» о наследственном национальном грехе (хотя, если мой отец сидел за «грех Юрковского», тогда Ваши личные беды, выходит, — плата за раздел Польши, унижение «инородцев», еврейские погромы и прочее). Наконец, дело не в том, что Вы оказались неспособным прочесть мое письмо, ибо не ответили ни на одну его строку. (Филологического вопроса о происхождении слова «еврейчата» я не ставил. Да, кстати, ведь Вы заменили его в отдельном издании на «вейчата». Неужели цензуры забоялись?)

Главное: найти в моем письме много зла можно было лишь в цитатах. Ваших цитатах, Виктор Петрович. Может быть, обознавшись, на них и обрушились?..

Несколько раз елейно толкуя о христианском добре, Вы постоянно выступаете неистовым — «око за око» — ветхозаветным иудеем. Подобный тип мышления и чувствования — уже есть ответ о причинах русских и российских бед: «нельзя освободить народ внешне более, чем он свободен изнутри».

Спор наш (если это спор) разрешится очень просто: если сможете еще писать хорошо, лучше, сохранив в неприкосновенности нынешний строй мыслей, — тогда Ваша правда. Но ведь не сможете. Последуете примеру Белова, одолевшего-таки злобностью свой дар и научившегося писать вполне бездарную прозу (см. его роман «Все впереди» — «Наш современник», 1986 г., № 7—8).

Прощайте, говорить, к сожалению, не о чем.

Главный Вам ответ — собственный текст, копию которого, — чтобы Вы не забыли, — возвращаю.

28 сентября 1986 г.

Н. Эйдельман

Юрий КАРАБЧИЕВСКИЙ

БОРЬБА С ЕВРЕЕМ

А теперь, почтеннейшая публика, на нашем манеже — старинная народная забава: «Борьба с евреем»!

Анекдот

УЗЕЛ ПЕРВЫЙ: ОКТЯБРЬ 86-го — МАРТ 87-го

1

Один писатель — Натан Яковлевич — написал письмо другому писателю — Виктор-Петровичу. В том смысле, что вы, мол, полегче, не очень ругайтесь. На грузин, монголов, евреев и других представителей. Что, мол, раньше, бывало, другие писатели — тоже хорошие и тоже русские — так не делали. Они все больше своих ругали, а чужих хвалили. Ну, в общем, все понятно и лучше не надо. Вежливое вроде бы такое письмо, сразу видать, человек культурный. А вот другой писатель, Виктор Петрович, этому первому возьми и ответь. В том смысле, что от такого слышу и лучше бы ты заткнулся. Вы, евреи (а писатель Натан Яковлевич и в самом деле еврей, хоть и пишет, как русский), вы батюшку нашего царя русского погубили вместе со всем семейством, вы про нашего Пушкина, русского поэта, Бог знает что насочиняли, стыдно сказать, и на нашего Достоевского, русского писателя, тоже черт-те что возвели, и за это мало вас, гадов, давили, мало вас, гниды

поганые, жгли, и короче — Бог вас прости, просвети и помилуй. Аминь!

А первый-то этот, Натан Яковлевич, который еврей, — как такой неприятный ответ получил, так сразу прямо схватился за голову, сел за стол и недолго думая написал на этот ответ — ответ. Чтобы, значит, последнее слово за ним. В том смысле, что и не ждал не гадал от вас такой злости-ненависти. Рассуждаете вы, извините, как вылитый Гитлер, и невежество проявляете бесподобное. Вас послушать, так выходит, что сионист, что еврей — одна, будто, шайка. А на самом деле сионист — это партия, а еврей — вовсе нация, вон оно как! . .

Отчего-то в такой дурацки-сказочный стиль — под Лескова, Зоценко, Евг. Попова — тянет при изложении этой истории. История вроде бы мрачная, жуткая, а все-таки в чем-то анекдотичная. Может, так: нечто мрачное, жуткое стоит за ней, за этой историей, а сама она — все-таки анекдот? Потому, наверное, и разошлись эти три письма с такой неслыханной радиоскоростью и с такой же неслыханной широтой. Так стремительно распространяются мрачные слухи или

злбодневные анекдоты. Отчего здесь видятся мрак и жуть, я думаю, ясно, и об этом речь у нас еще впереди. А вот отчего анекдот? Оттого, пожалуй, что Эйдельман, посылая свой внешне корректный, но по сути уничтожающе резкий выпад, словно бы и не ждал ответного выпада или ждал тоже — вполне корректного, по правилам и в пределах литературных приличий. И тут ему — хоп! Такой сюрприз. Помереть со смеху.

И еще один как бы просчет Эйдельмана... Говорю «как бы», потому что не очень уверен, потому что, при всей солидарности с общим смыслом, не вполне понимаю исходный замысел: писать Астафьеву, а не про Астафьева... Так вот, такой как будто просчет, что письмо Эйдельмана лояльно на сто процентов, чуть подправить, а может, и так сойдет — и сейчас в «Известия»; а Астафьев ответил свободно и даже рискованно, помянул не только «еврейский гной», все-таки тогда еще вслух никем не дозволенный, но и царя — в откровенно монархическом духе, и Бога не просто так, для словца, ввернул, а выказал себя безусловно верующим — немало для известного советского писателя, лауреата Государственных премий. Bravo, Астафьев!

Bravo. Но вот такое быстрое время — все меняется, только успевай поворачиваться. И Астафьев, и те, кто с ним солидарен, поворачиваются и хорошо успевают. И они-то знают в каждый момент, что можно, чего нельзя. Эйдельман правильно осторожничал, обстановка была не в его пользу, и даже интеллигенция, и даже сейчас — далеко не вся на его стороне. А Астафьев правильно распоясался, ни черта ничем он не рисковал, все это уже было можно и даже нужно. Самая главная наша газета выразила — косвенно — ему поддержку и впрямую — порицание Эйдельману. Он, оказывается, написал письмо, «провоцирующее на резкий ответ», — поступок безнравственный и недостойный. Ай-яй-яй, Натан Яковлевич, что же вы так?

2

Действительно, что же вы т а к, Натан Яковлевич? Это уже я говорю, обернитесь, пожалуйста. Я здесь, сов-

сем с другой стороны. Что же вы т а к? Ведь вы же писали не для «Известий»... А тогда — к чему эти все предисловия, туда и обратно характеристики? Про отца своего... Просто больно читать. И что, Вы действительно полагали, что Астафьев не знает Вашего имени, никогда не слышал о Ваших статьях и книгах? И даже если иметь в виду, что обращение к нему — это только форма, а текст изначально был предназначен широкой публике, то и тогда, уж наверно, не столь широкой, чтобы ей вот так, с нуля, представляться. «Член СП...» Это автор «Лунина», книг о Павле и Карамзине. Мельтешенье какое-то, простите меня, ради Бога!

И в другую сторону, к адресату — опять какие-то странности. «Лучшие за многие годы описания природы». Это уже из школьных сочинений, из нашего с Вами детства. «Роль описаний природы в романах Тургенева...»

Но все-таки главное мое недоумение, главное расхождение мое с Эйдельманом — в его втором письме, заключительном. «В диких снах не мог вообразить в одном из «властителей дум» столь примитивного, животного шовинизма, столь элементарного невежества». Это мне уж совсем непонятно. Если это такая игра, вообразить, мол, не мог, то слишком серьезен общий тон и контекст. Если же, что скорее всего, Эйдельман и впрямь здесь вполне серьезен и искренен, то чем же тогда при чтении трудов Астафьева было занято его воображение? Да нет, он, конечно же, все увидел и понял, и не только в одном рассказе о Грузии, но даже и в той чудесной книге с лучшими за тридцать или сорок лет описаниями природы... Все увидел и назвал своими словами. А все-таки, значит, обольщался, надеялся, верил, что для Астафьева это не главное, что сам он, подлинный, чист и добр, а это все так, случайный налет, издержки литературного производства. Что Астафьев, получив такое письмо, пусть и очень резкое, но справедливое и написанное преданным его читателем (чему вот они как раз доказательство), хлопнет себя кулаком по лбу и скажет: «Господи, что ж это я! Вот уж действительно, черт попутал...» И сядет писать совершенно новый рассказ, полный брат-

ской и нежной любви к инородцам и лучших — уже за двести лет — описаний природы . . .

Нет, не верится мне в эту верунадежду, а видится здесь интеллигентская робость, да уже ставшая для всех подсознательной неприменная форма народным писателям, то есть, значит, писателям из народа, то есть Бог его знает, что это значит, но все понимают . . . Из народа — значит, из той среды, где люди зарабатывают себе на жизнь не умственным, не дай Бог, трудом, а физическим, вот, может быть, так . . .

3

Есть такое «народное» убеждение, специфическое, может быть, для России: что труд — это только труд физический, а умственный — это уже не труд, а как бы забава. И народный писатель — он тоже, конечно, труженик, но только потому, что, во-первых, сам прошел через тяжкий (неприменно тяжкий!) физический труд; во-вторых, потому, что пишет о людях, занятых этим настоящим трудом, то есть является как бы дальнейшим их воплощением. Очевидно, далее, что там, где труд настоящий, там, следовательно, и настоящая жизнь, ну и совсем уже просто и ясно — настоящая люди. Только они могут быть объектом серьезного, уважительного рассмотрения, только они своей многотрудной жизнью заслужили право на сочувствие и поддержку. Разумеется, это прежде всего крестьяне. В городе настоящий (физический) труд также имеется, но по преимуществу не такой тяжелый, а главное, не занимающий столько времени, с перерывами, свободными вечерами, выходными днями и отпусками. И поэтому подлинность, настоящесть города — всегда под сомнением. Горожане, а в особенности интеллигенты, те, что в самое что ни на есть рабочее время, вместо того чтобы заниматься трудом, крутят ручки красивых и даже иностранных приборов или, пущего того, листают бумажки и книжки, — эти люди никак не стоят серьезного, уважительного слова писателя, а достойны лишь осмеяния и издевательства. «Поешь? Это мы все поём. А вот что ты делаешь?» Этот извозчикный вопрос к Шалыпину нависает, сурово и неотвратимо, над всей городской интеллигенцией . . .

Итак, деревне — наше почтение, уважение и пристальное внимание, городу — наше презрение, сатиру и юмор, крепкое крестьянское наше словцо, ядерный снежок в сутулую спину. Деревня своя, город чужой, крестьяне свои, горожане чужие. Свои — хорошо, чужие — плохо. Усиливая понятие «горожане» до предела возможностей, получаем, естественно, москвичей. Усиливая понятие «чужие» до «басурман», получаем наконец долгожданных евреев. Всё, приехали.

И когда Виктор Астафьев пишет: «Ваше недоумение . . . московских евреев», — то это не географическое уточнение, а стилистическое усиление. «Евреев», да еще «московских» — двойное клеймо, обидней прозвища, страшней ругательства — не придумаешь . . .

И вот какой-нибудь ученый славист из Эмхерста прочтет Астафьева и решит, что так все и есть. Что российские сельские жители именно так и думают, и считают всех горожан дармоедами, и умственный труд не считают за труд, и во всех своих бедах винят город, а также евреев.

Я должен вступить за сельский народ, оклеветанный своим народным писателем. Ничего такого крестьяне не думают. Побеседуйте с любым пожилым, умным крестьянином. Он вам скажет, что да, конечно, житуха нелегкая, но и в городе, что ж, бывал он у дочки, ничего там хорошего. Да, верно, ушел с работы — и с плеч долой. Ну а магазины, кошелки, очереди, а транспорт, нервы, руготня, толкотня, а спешка, а шум, а воздух — не дай Господь! А что зять пришел домой вечером, поел и лег, телевизор смотрит — так и он здесь, в деревне, на свежем воздухе, в собственном доме, не в бетонном улье, те же самые «Семнадцать мгновений» те же четыре раза смотрел. Нет, не заманишь! И к людям умственного труда нет у него никакого презрения, а напротив, любопытство и даже порой уважение. Он сам, многое в жизни умеющий, ценит любое другое умение, хоть и не всегда понимает его цели и смысл¹. Ну а насчет ев-

¹ Я не знаю, усилит ли это мою позицию, по моим же выкладкам — не должно, но эти строки я пишу не в московской квартире, а в собственном деревенском доме, завещанном мне замечательной

реев... даже как-то странно. Что ему евреи, когда он их видит, где с ними соседствует? Какой у него может быть счет к евреям?.. Но вот тут-то как раз все начинается. Какой счет? Не знает крестьянин? Ну так сейчас ему объяснят...

Побеседуйте с сельским жителем любого района, но не ездите в поселок Овсянка Красноярского края. И не потому, что поселок Овсянка — не вполне сельская местность, а скорее пригород. Потому не ездите, что именно там, в поселке Овсянка, живет народный писатель Виктор Астафьев. И, наверное, его окружают разные люди, но боюсь, что всем, и дурным и хорошим, он уже все давно объяснил. И хотя, по собственному его признанию, земляки книг его не читают (их читают ненавистные ему горожане), но авторитету его писателю — поверить должны. Вот это и страшно!..

4

А быть может, хватит, скажет благородный читатель, надоело, сколько можно об одном и том же? Все вы надоели, и те двое со своей перепиской, и ты в придачу. «Страшно, страшно!» — Ничего не страшно, разве что глупо. Тот умник прицепился к усталому, больному, контуженному на войне старику, старик в ответ болтал чепуху, а ты теперь в этом во всем копаешься, подводишь платформу под каждое слово. Ну какой здесь смысл, какая опасность, мало ли кто что мелет... Разве Астафьев

женщиной — Катериной Егоровной Федотовой, человеком большого природного ума и удивительного благородства. С ней мы не раз обсуждали все эти вопросы, и мнения наши почти всегда совпадали. Пользуюсь случаем, чтоб почтить ее память. (Нет, не усилит. Астафьев скажет: «Ну вот, и в деревню пролезли, теперь и оттуда выкуривать!..») Молодежь, конечно, бежит, ничего не скажешь. Эти брошенные деревни — действительно страшное зрелище... Молодежь бежит — но и правильно делает, слава Богу, понимает, что телевизор — еще не все. Потому что любая деревня — дыра, и любой поселок — тоже дыра, и любой маленький город — тоска зеленая. Но уж это совершенно другой вопрос, здесь не история с географией, здесь имперская геополитика... («Еврейская» — немедленно вставит Астафьев, ну пусть порезвится.)

призывает к погрому? Требуется организация штурмовых отрядов? Или составляет свою кандидатуру на пост Генерального секретаря?..

Мед бы пить устами благородных читателей, а не тот сучок, что мы им предлагаем. Но уж что имеем... Я отвечу так: конечно, призывает к погрому. Не к убийствам пока, но выселений не избежать, а погром в культуре провозглашен однозначно и без вариантов. Что же касается штурмовых отрядов, то чего их требовать, они уже есть, и похоже, в очень немалом количестве. И на пост Генерального секретаря — тоже есть кого выдвигать, не Астафьева, но уж лучше бы, может, Астафьева... Нет, старик не болтал — проболтался. Но тогда в ответ, с другой стороны, надо, чтобы прозвучал хоть чей-нибудь голос, пусть хоть мой, если больше никого не нашлось. Надо, чтобы было громко сказано, что при всех моральных и литературных нюансах, при всех возможных оговорках-поправках, ставить Астафьева и Эйдельмана на одну доску, объявлять их соавторами — это просто трусость, это безнравственность — если не хуже.

Вы заступились за женщину, вам врезали в рыло, а потом и вас, и того волокут в участок, и все это вместе называется «драка в автобусе», потому что в глазах равнодушных зрителей вы не отличаетесь друг от друга. Чтобы каждый понял — надо, чтоб врезали каждому...

Эйдельман написал письмо необходимому, и единственно, что меня в нем не устраивает, это именно попытки сохранить равновесие, в основном — вся вводная часть, позолота пилюли. Впрочем, вот и в конце... «Если сможете еще писать хорошо, лучше, сохранив в неприкосновенности нынешний строй мыслей, тогда ваша правда! Но ведь не сможете» и т. д. Рискованно! Очень рискованно. То есть, может быть, в данном конкретном случае риск невелик, но если воспринимать эту фразу как формулу... Представьте, что не Астафьеву она адресована, а Федору Михайловичу Достоевскому, который после «Pro и Contra» писал, как известно, все лучше и лучше, сохранив, сколько можно судить, в неприкосновенности весь строй своих мыслей по данной теме. Кстати, если б хотел Астафьев

поддержать литературный характер спора, мог бы и привести дostoевских «жидишек-полячишек» в противовес горцам Льва Николаевича. А ведь тоже — «сильно писал» Федор Михайлович! Много всякого было в русской литературе, в том числе и в великой . . .

Но Астафьев предпочел, на нашу удачу, высказаться прямо и просто, почти без цитат, и даже эпитафией взял поговорку (кстати — еще один аргумент против тех, кто считает, что он и в мыслях не держал публикацию. Кто же это станет снабжать эпитафией письмо, предназначенное одному читателю? Да ведь и не оговаривал такого условия, и посылал письмо не другу — врагу, и знал, что писательские письма вообще, рано ли, поздно ли, публикуются, есть у них такое странное свойство . . . Нет, не выходит!)

5

Астафьев высказался прямо и просто, и теперь мы знаем: то, что прежде в его произведении могло показаться случайным или неоднозначным, на самом деле именно так и есть. И, пожалуй, признаем, все-таки прав Эйдельман. «В диких снах не мог предположить» — это все-таки верно. Потому что одно дело видеть, читая, что автор не любит евреев (всяких прочих — тоже не обожает, но этих особенно!), и совсем другое — чтобы вот так, такими словами, какие с ходу и не придумаешь, хотя уж чего не слышался в жизни, и даже, прочтя несколько раз, никак не запомнишь, не выстроишь в нужном порядке . . . Как это там? «Перекипевший гной еврейского высокоинтеллектуального высокомерия . . .» Сильно пишет Виктор Петрович, не слабже Толстого!

Не знаю, как вы, а я в первый момент испытал какое-то оцепенение. Трудно поверить, что это, так и м и словами, прямо вот так всерьез на бумаге написано, что это не шутка, не мистификация. Словно давнее мое затравленное детство в Марьиной роще опрокинулось вдруг на меня из прошлого — всей своей беспощадной глупостью, унижительной пошлостью и подростковой безоглядой злобой. И еще, быть может, нечто похожее бывало опять-таки в

детстве, когда, уверенный в равновесии и разумности мира взрослых, вдруг узнаешь об этом мире невозможную, постыдную тайну . . . Никак не складывалось во взрослый, серьезный текст это сочетание злых прозвищ, дурацких обозначений — и каких-то как бы литературных слов, каких-то как бы культурных ссылок . . . Так бы мог выражаться в эмигрантском романе какой-нибудь мерзостный персонаж, крайне сомнительный по достоверности.

Я и теперь иногда, перечитывая, вновь испытываю все эти чувства, главное из которых — сонная оторопь, нереальность, невоспроизводимость. Вот сейчас возьму перочник еще раз — и там уже будут другие слова, трезвые, взрослые, лишь внешне, быть может, созвучные тем, чудовищным. Слава Богу, почудилось! . . .

Но нет, не почудилось, все так и есть. И главное, есть такое чувство, что самое страшное — все впереди, как крылато выразился Василий Белов. Самое страшное — когда понимаешь (когда вспоминаешь), какая за этим стоит многолюдная страшная сила, и действующая и еще больше — потенциальная. И поэтому я, рискуя уже окончательно лишиться расположения разборчивого читателя, все-таки считаю необходимым покопаться в этом . . . замечательном тексте.

6

« . . У всякого национального возрождения, тем более у русского, должны быть противники и враги».

Два вопроса . . . Занятие, конечно, глупое, к черту вопросы и что тут неясного? И все-таки, пожалуй, дайте отнесемся серьезней. Ведь это впервые за много лет сконцентрировалась в небольшом документе вся коллективная пошлость и злоба. Итак, вопрос первый: необходимость врагов. Отчего непременно должны они быть? Ну, то, что есть, это ладно, допустим, так уж случилось и что тут поделаешь. Но вот отчего должны? Дело в том, конечно, что национальное возрождение мыслится сегодняшними его идеологами не просто как расцвет и развитие национальной культуры, как раскрытие, допустим, всех заложенных в народе возможностей, — а мыслится оно прежде всего как процесс расово-

очистительный, то есть не столько создание нового или даже возрождение забытого старого, сколько очистка национальной жизни — искусства, литературы, повседневного быта — от всего, что те же идеологи сочтут нерусским. Главное действие здесь — не строительство, а оздоровительное разрушение: искоренение, уничтожение и отбрасывание того, что сделано и делается нерусскими руками или даже русскими, но в чуждой традиции. Вот по этим рукам — и головам, разумеется, — и должен быть направлен главный удар. Враги — вовсе не те, кто противится, и вряд ли такие вообще найдутся, а те, кто делает не то, что надо, или же делает неважно что, будучи сам не тем, кем надо. Они-то, быть может, живут, ничего не ведая, но поскольку живут они, что-то дела я — проявляя при этом свои нерусские качества, то они и враги, и дети их — тоже враги, и те, что есть, и те, что еще родятся. И таких врагов действительно не может не быть, они и есть — изначально, по исходному замыслу.

Здесь, конечно, самый антиисторический ум непременно дернется к аналогиям. Да, разумеется, обыкновенный нацизм. Мне кажется, что Астафьев и его друзья этой параллели не страшатся и от нее не прячутся. Ведь не могут они быть настолько наивны, чтоб и вовсе ее не видеть. Как писали некогда наши сатирики: «Скальпы . . . Были индейцы по форме неправы, но по сути — им трудно порой возразить».

Дальше эту свою позицию Астафьев объясняет довольно подробно. Сначала это выглядит вроде бы только смешно.

«Возрождаясь, мы можем прийти до того, что станем петь свои песни, танцевать свои танцы. . .»

Кто же мешает? Так и видишь вочию, как дюжий бодрый Натан Эйдельман, с автоматом «узи» наперевес, принуждает несчастного Виктора Петровича (больного, контуженного старика) плясать «семь-сорок» и петь «Хаву Нагилу» . . .

«. . . танцевать свои танцы, писать на родном языке, а не на навязанном нам «эсперанто», «тонко» названном «литературным языком» . . .»

А здесь — что конкретно он имеет в виду? Язык без диалектизмов и

неорусизмов? Но ведь именно так, без этих «измов», писали в России все и всегда, и Пушкин, и Бунин, и Чехов, и кого ни назвать, кроме тех, кто по замыслу прибегал к стилизации. Что-то тут загнул Виктор Петрович слишком хитрое, не расшифруешь. Но дальше зато — все просто, понятно и уже ни капельки не смешно.

«В своих шовинистических устремлениях мы можем прийти до того, что пушкиноведы и лермонтоведы у нас будут тоже русские и — жутко подумать — собрания сочинений собственных классиков будем составлять сами, энциклопедии и всякого рода редакции, театры, кино тоже «приберем к рукам» и — о ужас! о кошмар! — сами прокомментируем дневники Достоевского».

Он иронизирует, Виктор Петрович, с юмором мужик, а ведь так все и есть. И то, что устремления — шовинистические, и лермонтоведы русские, то есть только русские — и в самом деле страшно подумать! И куда же тех, остальных-то, денут? Вышлют? Организуют специальный лагерь? Или просто уволят и всем поголовно велят заниматься Шолом-Алейхемом? И только ли евреев будет касаться этот новый порядок? Он ведь не пишет «русские, ну и грузины». Значит, Иракий Луарсабович — тоже? А книги, статьи, что — уничтожить? А открытия, добытые данные — не принимать во внимание? Масса вопросов. А как с полукровками? Юрий Тынянов? А кварталеры? А кто крестился? А кто не записан? Трудностей будет много, Виктор Петрович. Но, конечно, все они разрешимы, в мировой практике опыт имеется, а сил и средств никаких не жалко, очень уж результат должен выйти хороший. Христи-аннейший такой результат. И еще: духовный, моральный и нравственный.

Нет, не надо думать, что «приберем к рукам» это какая-то отвлеченная фигура. Именно это — «приберем к рукам» — имеет в виду Виктор Астафьев и даже юродское «о кошмар! о ужас!» — тоже несет определенный смысл. Это, видимо, плаксивые еврейские причитания, как он их себе представляет, реакция на захват национальными силами редакций, театров и киностудий.

Я знаю, читатель меня вновь оста-

новит: стоит ли с таким педантизмом, с такой серьезностью? Ты же сам, скажет читатель, своим комментарием поднимаешь цену этой бредятины. Что ты уцепился за этого Астафьева? Оставь его, скаламбурит читатель, оставь его!..

Нет, скажу я, не оставлю, не имею права. Нет, не поднимаю цену — отдаю должное. Потому что, повторяю еще раз, не в Астафьеве дело. Он произнес не свои слова, он их не придумал. Он услышал их, и слышал не раз, и кто мне скажет, сколько человек, ну хотя бы сколько русских писателей — повторяет их ежедневно?

Итак — лермонтоведы-пушкинове-ды... Почему русские лермонтоведы могут появиться только в результате очистительной национально-освободительной борьбы? Как и в чем конкретно евреи им сегодня препятствуют? Не дают бумаги, отнимают перо? Галдят, мешают сосредоточиться? Или те все-таки пишут, несмотря на галдеж, а эти им потом не дают печататься? Представляете, хорошая книга о Лермонтове, да автор ее оказался, к несчастью, русским. Ну и не пропустили, понятное дело, не прошел по пятому пункту... И ропот, и движение российской общест-венности во главе все с тем же обществом «Память» — за отмену национальности в паспортах как главного средства дискриминации...

Остается одно: что евреи пишут, и русские пишут, и все печатаются (я, конечно, догадываюсь, что не все печатаются, но, насколько я знаю, не по тем причинам, а если по тем, то с другого конца приложенным), все печатаются, а надо — чтобы т о л ь к о русские. И опять все сходится к тому же самому, других вариантов нет. К устранению сходится, к уничтожению.

Но ведь Астафьеву (Крупину, Белову, Распутину) будет мало, чтоб печатались только русские. Ведь понадобится, чтоб печатались только с в о и русские, те, что правильно понимают интересы народа и родины, те, что учат (непрененно учат!) читателя быть достойным г р а ж д а н и н о м о т е ч е с т в а (любимое выражение) и несут ему то, чего ему не хватает: духовность, мораль и нравственность.

Та мораль, которую несет Астафьев (или, скажем точнее, которая несет Астафьева) есть доведенная до анекдота, но типичная для всего движения смесь: декларируемой любви — и осуществляемой ненависти. Напыщенные, дутые призывы к добру, чистоте, смирению, бескорыстию, братству и вообще ко всем положительным качествам, какие только можно найти в словаре, — и готовность, выкрикивая эти сладкие лозунги, бить, давить, хлестать хлыстом, заливать свинцом — все чужое, не наше, непривычное, странное, непохожее или на то, как у нас, или на то, как, по нашим данным, должно быть у них.

Вот пример из тех же «Пескарей в Грузии» — образец богатой астафьевской прозы, изобилующей красками и нюансами¹.

«Витязь! Витязь! Где ты, д о р о г о й? Завести бы тебя вместе с тигром, мечом, кинжалом... (эх, завести бы, да и... нет, тут пока о другом), но лучше с плетью (вот!) в Гали (нет, это лишь смысловая связка) или (теперь настоящий адрес) на российский базар, чтоб согнал, смел ты оттуда модно одетых, единокровных братьев твоих, превратившихся в алчных торгашей и деляг, имеющих за рукав работающих крестьян и покупателей...»

«Имающих... работающих...» Это же надо! Прямо так и имеют, во время работы... Язык, действительно, не эсперанто. Впрочем, Астафьеву, конечно, виднее, с ним всегда — чистота происхождения, лучший учитель. Высшей пробы арийская кровь стучит ему в голову и подсказывает: «Работающих. Имающих. Не оглядывайся, все правильно, я с тобой...» И она же, видимо, диктует ему и такие мечтательные ряды, свольной игрой умлений, проклятий, грамматических подчинений и падежей.

«Вот если бы на головы современных... (кого?! Эх!.. Нет, так прямо пока нельзя, ладно, потом уж, в письме Эйдельману...) осквернителей

¹ Все главное об этом рассказе Эйдельман уже высказал. И все же я позволю себе пройтись еще раз и собрать крохи с его стола. Комментарий — в скобках.

храмов, завоевателей, богохульников и горлопанов (далее сам черт себе ногу сломит, но это и хорошо, и прекрасно, потому что из этой неразберихи с в о й читатель выберет то, что и без того уже знает . . .) — на всех человеконенавистников, на гонителей чистой морали, культуры, всегда создаваемой для мира и умиротворения, всегда бесстрашно выходящей с открытым, добрым взором, с рукой занесенной (ну! ну! . . . нет —) для благословения к (?) труду, любви, против насилия, сабле, ружей и бомб (!?)».

Передохните немного.

Но учтите, что и на этом я вас не оставляю, ни вас, ни Астафьева. Это н а д о прочесть, через это н а д о пройти, преодолевая брезгливость, вникая в детали. Потому что это не просто дурная литература, это — евангелие воинствующей черни, манифест ксенофобии.

«Дело дошло до того, — пишет Астафьев, — что любого торгаша нерусского, тем паче кавказского вида по России презрительно клянут и кличут „грузином“».

Он опять вынужден сглаживать и кривить душой. В действительности дело дошло до большего. «Черномазым», «черножопым» кличут по России человека вида нерусского, а тем паче кавказского, торгаш он или не торгаш, неважно; а еще кличут «чучмеком» и «чуркой», если он по виду из Средней Азии. А как по России клянут и кличут общежитие университета Патриса Лумумбы? «Обезьянником» кличут его по России, по крайней мере по всей Москве. Ну-ка, Виктор Петрович, какую горькую правду отражает это меткое народное прозвище? Не ту же ли самую горькую правду, что подсказала народному писателю Астафьеву яркий пассаж об отвратительных, алчных раках, «ухватками и цветом точь-в-точь похожих на дикоплеменных обитателей каких-нибудь темных, непролазных джунглей?» Не иноплеменные — так дикоплеменные, но кто-нибудь из чужих народов всегда под рукой для таких сравнений и прозвищ. И не знает имени, и не видел ни разу, а знает, что мерзкие и похожи. «Точь-в-точь! . . .» Bravo, Астафьев!

В прошлом году мне случилось присутствовать при разговоре дворников у магазина «Ядран», где в длинных очередях за югославской экзо-

тикой большинство действительно составляют кавказцы. Грузили мусор в машину. Я тоже грузил. Одна здоровенная баба-дворничиха развлекалась тем, что гонялась с лопатой за мышами, выбегавшими из мусорной кучи. Почти каждого догоняла и убивала одним, а нет, так двумя или тремя ударами. Оказалась неожиданно поворотливой. Она и сказала: «Так бы и этих черножопых армяшек (видите: не грузин, а армяшек!) всех до одного передавить — вот бы воздух очистился». Другая, маленькая, востренькая, ей возразила: «Ну нет, всех не передавишь, вона их сколько. На них радиацию бы из Чернобыля . . .» А та, первая, ей в ответ: «Ну да, скажешь еще, радиацию. Небось мы бы сами и передохли, а они бы выжили, тараканы чертovsky . . .» Она, конечно, сказала не «чертovsky», другое слово, но суть не меняется. Мужики, надо отдать им должное, в разговор не вступали. Грузили и всё. Народ, он тоже бывает разный. А думаю, был бы здесь Виктор Астафьев, он бы даже вступился за бедных армяшек и сказал бы, тоже слегка посмеиваясь, что лопатой — это, конечно, нельзя, это как бы даже не по-христиански, а вот нагайкой, то есть хлыстом — да и вымести всех этих модно одетых, которых дошло до того, что кличут . . . ну и так далее.

8

Но, конечно, поиски народной правды в виде точных сравнений и ярких прозвищ не ограничиваются союзными республиками и нацменьшинствами. В своем уникальном рассказе-энциклопедии Астафьев, едучи в автомобиле по Грузии, находит возможность высказаться и об Америке. Выражая, как и следует народному писателю, народное отношение к этому предмету, хорошо, казалось бы, разработанное на протяжении многих десятилетий, он тем не менее находит яркий, незабываемый образ, возникающий как бы из самой окружающей реальности.

Итак, что же в итоге? Торгаши-инородцы, темнокожие дикари, империалисты, б . . . , сионисты — это все хорошо. Но как же с дружбой народов? Для дружбы народов выделяем романтику прошлого: храм в Гелати, Шота Руставели — и ловлю

тех пещерей, что в заглавии. Здесь для автора «Царь-рыбы» хорошая возможность показать подлинно бескорыстное отношение старшего брата — к братьям меньшим, которые ведь, в сущности, как дети малые: все-то им покажи, научи, подсоби, успокой... И также — произнести устами грузин ключевые (и конечно же, символические) слова об этой самой дружбе народов.

«А когда Отар, зацепив за куст, влопыхах оборвал удочку, то схватился грязными руками за голову и уж собрался разрыдаться, но я сказал, что сей момент налажу ему другую удочку, привяжу другой крючок, и он, гордый сын Сванских хребтов, обронил сдвоенным голосом историческое изречение:

— Ты мне брат! Нет, больше! Ты мне друг и брат!»

И это ведь тот самый Отар, о котором с такой брезгливостью, с таким презрением писал автор в простран-

ном отрывке, уже цитированном Эйдельманом... Вообще — чрезвычайно любопытный факт и по-человечески очень отраднй, что даже в таком искусственном, принужденном тексте подлинная правда каким-то образом находит выход и прорывается помимо желания автора. И богатые, беспечные и толстые грузины выглядят в рассказе несравнимо естественней и стократ привлекательней брюзгливого, угрюмого автора, заранее знающего про всех и вся, кому как надо и как не надо, неуклюже лавирующего между искренней злобой и притворным, вымученным дружелюбием...

И, Господи, какая всеохватная, тотальная пошлость, какая тоскливая, серая муть! (О кошмар, о ужас!..) И кстати, ловит он рыбку — в мутной воде, в застойном, загнившем водохранилище. Не странно ли, что такому любителю всяких намеков не пришла на ум эта явная и простая символика?

УЗЕЛ ВТОРОЙ: АВГУСТ 87-го — ОКТЯБРЬ 88-го, И ДАЛЬШЕ, И ДАЛЬШЕ...

1

Что самое страшное в расовой ненависти? Роковая предначертанность, неотвратимость. Не столько отсутствие аргументов, сколько отсутствие необходимости в них. Неотвратимость — и о б е з л и ч е н и е. В глазах расиста человек-жертва перестает быть человеком, вот этим, конкретным, говорящим и думающим, носителем дурных и хороших черт. Все это не имеет никакого значения, разве только чисто технологическое: если буйный, значит, придется связать...

Все духовные свойства личности, как и физические свойства тела существуют лишь в постоянном воспроизводстве, во взаимодействии с окружающим миром, реальным или воображаемым, или, скажем, материальным и идеальным. Личность должна воспроизводиться. Лишите ее этой возможности — и ее не станет.

Не позволяй душе лениться.
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь...

Я уверен, что именно воспроизводство души имел здесь в виду Николай Заболоцкий, а иначе дидактический этот стихок превращается в некую пошлую пропись, что, кстати, и происходит с ним всякий раз в повседневном цитировании. Толочь воду в ступе — значит не просто заниматься ненужным, бессмысленным делом, это значит иметь дело с ничем, с чем-то, не имеющим содержания...

Человек чувствует свое существование, ощущает себя живой душой лишь в той степени, в какой его личные качества соотносятся с внешним миром. Именно таким, диалогическим способом, по затертой, а все-таки гениальной бахтинской формуле¹, он себя проявляет. Диалог — это партнерство, соседство, дружба, безразличие или даже ненависть. Один человек тебя любит за то-то, другой ненавидит за что-то другое, а третий просто так ненавидит, сам не знает, за что, ненавидит и все. Но и он, не могущий объяснить, ненавидит

¹ Восходящей к Мартину Буберу («Я» и «Ты», 1922).

именно тебя, не кого-то другого, ненавидит сочетание тех самых качеств, которые и составляют тебя как личность. Пусть тебе перед ним никогда не оправдаться, пусть тебе и не захочется этого делать, пусть ты сам ненавидишь в ответ и так далее, но потенциально такая возможность (оправдаться) — имеется, и наличие ее — не умозрительная спекуляция, а вполне объективная категория. В этом акте ненависти нет ни роковой неизбежности, ни, что еще важнее, — обезличения. Это чувство направлено к тебе, к твоим личным качествам, ты и в нем, как и во всем другом, проявляешься, производишься, осуществляешься . . .

Совершенно иное дело — ненависть расовая. В том ограниченном, замкнутом пространстве, где вас только двое, ты и расист, ты вдруг с головокружительной, нигде более невозможной реальностью ощущаешь себя п р и ж и з н и у м е р ш и м. Тело твоё — есть, вот оно, а души, а личности — нет! Это жуткое, ни с чем не сравнимое чувство, ни на что не похожее. Я уверен, что во всем бесконечном спектре человеческих состояний и ощущений этому чувству аналогий нет. Те, кто его испытал, со мной согласятся.

Часто слышишь, что нервозность евреев в еврейском вопросе, их болезненная чувствительность к любым враждебным проявлениям, их надоевшая всем подозрительность — это следствие повышенного чувства коллективизма, чувства стадности, воспитанного, допустим, иудейской религией, где народ был всегда важнее индивидуальности, и т. д. и т. п. То есть как бы наличие коллективного разума, коллективной души — ну как вроде у муравьев . . . Вопросы религии и метафизики я оставляю побоку, мне они не по силам, да и мало занимают меня в данный момент. Что же касается коллективизма, то он у евреев, конечно, имеется, как же без этого, но, уверен, ничуть не в большей степени, чем у прочих цивилизованных малых народов, даже, может, у некоторых он развит больше, но это сейчас неважно, важно не это. Потому что повышенная нервозность евреев объясняется отнюдь не коллективизмом — грубейшая, нелепейшая ошибка! — а совсем наоборот, чувством индивидуальности,

обостренным чувством самосохранения личности. Нет, я не думаю, что и этого качества от природы евреев отмерено больше, чем прочим. Но у многих других ему не угрожает гибель, а у евреев оно — постоянно в смертельной опасности. Повторяю, я сейчас говорю не о смерти тела, до геноцида, допустим, еще далеко. Но простейший и страшный парадокс заключается в том, что вражда к народу, ненависть к нации отзывается не ущемленным чувством коллективизма, а ущемленным, порой до нуля уничтоженным — пусть на краткий момент, но именно так! — ощущением собственной неповторимости, чувством личности.

И поэтому всякий антисемит — плач, и не потенциальный, а ныне действующий. Он уже сегодня, сейчас, в данный момент — убивает твою неповторимую душу, твою индивидуальность.

Что говорит антисемит — дурак или умный, эрудит-теоретик или новичок-дилетант? Что говорит он, вслух или мысленно, стоящему напротив еврею, когда хочет его уничтожить? — «Все вы такие!» И достаточно, больше ничего не требуется. Ни тому, ни другому. Ни тому, чтоб убить, ни другому — чтоб умереть. И не надо объяснять, какие «такие», да он и не знает и не думал об этом. Если спросить, он ответит первое, что придет в голову. Богатые, злые, хитрые, хваткие, наглые . . . Не имеет значения, важно, что в с е. Будь он хоть трижды дурак, он знает нутром, где у жертвы расположен жизненно важный орган. Потому что в данный момент в нем, именно в нем, а не в жертве его действует коллективный, массовый разум. В нем живет, через него проявляется, награждает его за нехитрую службу, упрощая неимоверную сложность жизни, сводя ее к самым простым соотношениям, освобождая от необходимости поиска, от мук творчества, подставляя, вместо всей этой утомительной сложности, безотказно действующий стереотип, многократно проверенный эволюцией . . . «Все вы такие!» — и дело сделано. Как в игре в «морской бой» по клеточкам. Попал! Убит!

2

Сколько прошло со времен п е р е п и с к и, а она не теряет своей ак-

туальности. Напротив, сегодня скажи «переписка» — и сразу ясно, какая. Много за это время случилось хорошего, такого, что и поверить трудно, но много хорошего не случилось, такого, во что уже начали верить, а вместо этого — случилось немало плохого и кое-что произошло воистину страшное. Главное событие — резня армян. Оказалось, что в нашей пуританской стране, в нашей нормированной жизни — возможно и это. Только чуть ослабь тиски нормировки, только чуть резче прояви непроявленное, только чуть, самую малость — подтолкни и направь . . .

И если прав Виктор Астафьев и страдания народа — это возмездие, то пусть он нам теперь и ответит, прибавим к вопросу Эйдельмана и наш, чем перед Богом и людьми провинились армяне — первый в мире христианский народ, во все неисчислимые века своей истории только и делавший, что защищавшийся?

Сумгаит показал . . . Да простят меня великодушно армяне за то, что об этой кровотокающей трагедии я упоминаю вскользь, мимоходом, и даже как бы в служебных целях, в разговоре о совсем другом, о своем . . . Видит Бог, я на это смотрю не так. Но, во-первых, это — отдельная тема, и надеюсь, я когда-нибудь к ней вернусь. Во-вторых, о своем — не о другом, о том же. Здесь как раз, я думаю, важно увидеть, что погромная психология везде одинакова, и дети разных народов, ее исповедующие, оказываются на момент близнецами-братьями.

Сумгаит показал, что все уже было, все бывает и все еще может быть¹. И еще — в который раз, уже и не счесть, но никто никогда ничему не научится, — что от страшных слов до страшных дел расстояние гораздо меньшее, чем хотелось бы думать . . .

Что последует, какие-такие «события» — за очередным письмом Виктора Астафьева? Нет, уже не Эйдельману — в газету «Правда», чтоб никто не мог сказать: «Не хотел публикации» . . .

Письмо, строго говоря, коллектив-

ное, и Астафьев, быть может, только подписывал, — но ведь не под дулом же пистолета! Да и текст, хоть и туло канцелярский по стилю, но по теме и пафосу — вполне подходящий.

«Нас поражает четко обозначенная в ряде органов печати тенденция опорочить, перечеркнуть многонациональную советскую художественную культуру, особенно русскую . . .»

Это что? А это — вот оно что: «У всякого национального возрождения, тем более у русского, должны быть противники и враги». Bravo, Астафьев! Bravo, Астафьев, и bravo, Василий Белов, и Герой Социалистического Труда Валентин Распутин, тоже ведь не под угрозой смерти вставший в ряд с Михаилом Алексеевым и Петром Проскуриным — другими большими героями того же труда . . .

Бог с ними со всеми. Вопрос, как всегда, что делать?

Можно долго и подробно, и очень остроумно высмеивать каждый антисемитский выпад, явный и скрытый, печатный и устный. И радоваться, что правда на твоей стороне, а на их стороне — лишь темная злоба и голая сила. И чем больше у них будет силы и злобы, тем у нас будет больше шуток, сарказма и юмора. И боюсь, нам придется помереть со смеху, и боюсь, в самом буквальном смысле. Что такое журнально-газетная полемика или даже такая же, скажем, война? Ерунда, фантом. Страшно вовсе не это, страшно другое. Когда каждый автобус и каждый вагон метро, и любой уличный тротуар станут источником ненависти и личной опасности. Когда в двух очередях обнаружив по одному юдофобу, ты будешь в третьей подозревать уже всех, а когда обойдется и чуть успокоишься — как раз и нарвешься в четвертой . . . И ты станешь бояться выходить на улицу, потому что в каждом прохожем будешь видеть убийцу — если не тела твоего, то души, бесценной, бесценной, единственной личности . . . А со временем, что ж, быть может, и тела. Сумгаит показал.

Что делать? Не знаю. Знает лишь тот, кто точно знает, что надо уехать. Таким остается только завидовать. Их позиция всегда хорошо обоснована, и для них вопрос на сегодня снят. А еще знает тот, кто думает, будто знает. Кто уверен, что можно жить

¹ Так и вышло: рубка в Тбилиси, резня в Фергане, в Баку . . . Какой поселок или город — следующий?

себе и жить, не обращая внимания, нормальной жизнью русского интеллигента, ну там еврея по происхождению, мало ли какие у кого были предки, здесь в России ни с кем и не разберешься толком, у кого татары, у кого буряты, у кого немцы, у кого евреи... Жить и жить, никогда, ни в какой ситуации, ни даже наедине с самим собой не чувствуя, не признавая себя евреем. А если в автобусе или в очереди... Ответить: «Да сам ты — какой ты русский? Научись сперва говорить грамотно!» — Ну и что-нибудь там еще остроумное, так, чтоб тут же все и померли со смеху. А если окружающие тебя не поддержат и придется тебе помирать в одиночестве — выйти и пересест в другой автобус, не на этом же свет клином сошелся. А когда это будет во всех автобусах или хотя бы в каждом третьем... Да не будет этого, не может быть!

Может! И вспомним, уже бывало в сороковые-пятидесятые. А сейчас зло накопилось побольше. Будет так: автобус, два активных подонка, пять пассивных подонков, двадцать пять любопытствующих и еще пять — нормальных людей, которые содрогнутся, но не решатся...

Нет, такая позиция — зависти не вызывает. Она мне понятна и даже во многом близка, но в ней есть неестественность, и принужденность, и — ненадежность.

Я всегда возмущался, когда в зарубежных списках всяких там почетных и знаменитых евреев встречал имя Бориса Пастернака. Ну какой он еврей? Нельзя же, как в советском отделе кадров, ориентироваться на запись в паспорте. Он сам евреем себя не чувствовал и даже не раз активно отталкивался от явно его раздражавшей еврейской общности, от всем надоевшей особенности и культуры страданий. Русский писатель, русский человек, по всему, по образу мыслей, по складу характера... Ну там кровь... но где она, эта кровь? Но вот приходят ученые-филологи, специалисты по крови, и общими усилиями показывают: да вот же, вот она!¹ Леонид Осипович — вообще сионист (постыдный характер этого слова как бы ясен заведомо), а Борис

Леонидович — наоборот, но если копнуть поглубже, вогнать подальше, да там еще слегка повернуть, то и выяснится...

И однако, среди многих врожденных еврейских пороков, обличаемых нашими патриотами, среди тяжких пороков, большей частью придуманных, есть один действительно существующий, свойственный если не Пастернаку, то все же, смею утверждать, большинству евреев, живущих в России и преданных русской культуре. Я имею в виду извечную еврейскую двойственность, которая после 48 года, и особенно после 67-го, приобретает характер двойного подданства. Да, русский язык и только он, культура, история, наконец география; русский быт, проклинаемый и любимый, вьезшийся в поры кожи, в сетчатку глаз... Но и постоянное знание, а верней, даже чувство, что где-то там, за горами-морями, есть один такой островок земли, не иностранное государство, — предмет сочувствия, стыда, сожаления, осуждения, гордости, страха, надежды — но всегда, независимо от окраски, — особого, пристрастного отношения.

Да, господа патриоты, это есть, это есть. И можно сюда накрутить сионистский заговор, и жидо-масонскую черную силу, и Антихриста и мировое господство — все это очень удобно и просто. А можно и так сказать: да что ж тут дурного? Да во всем свободном мире ведь так и живут! Человек существует в одной культуре, сохраняя притом интерес к другой или даже воспринимая их обе как равноправные... И даже порой имеет двойное подданство — не душевное, а настоящее, в паспорте... И только первобытная наша Россия, уж и так обожаемая нами до боли в сердце, до каких-то едва не истерических всхлипов, все никак не успокоится, не примирится, не примет людей такими, какие есть; все никак не привыкнет любить чужое и не видеть в нем ни угрозы, ни конкуренции...

Скучное дело — разбирать те мотивы, злые, тайные, которыми, в действительности руководствуются вожди наших нацистских движений. Скучное, но и не плодотворное, потому что вовсе они не вожди. Потому что все приводные ремни — и от бе-

¹ «Вопросы литературы», 1988, № 9.

зумных истеричек в Останкино, и от изнемогающих в жарком патриотизме народных писателей — все ремни и все нити по-прежнему сходятся к Старой площади и Лубянке. Но если прежний, советский период истории был нашей болезнью, нашей бедой, то этот, готовящийся, послесоветский, будет нашей виной, прямым результатом нашей ничем на земле не оправданной трусости.

Величайший позор грозит сегодня России, и не надо обладать большим воображением, чтоб увидеть его воочию. Оставим пока в стороне политику, обратимся к тому, что нам ближе, — к литературе, культуре. Представим себе, что астафьевское «приберем к рукам» уже совершилось во всей огромной стране или хотя бы только в Москве-Ленинграде. Представим на миг, что «Наш современник», «Молодая гвардия» и «Москва» — это и есть в с я наша литература и вся критика, и вся публицистика. Нет, я сейчас даже не говорю о программе, я только об уровне. Страшно? Страшно! А как еще стыдно, а как унизительно! А ведь это почти уже так, наполовину так. И я бы даже сказал, что сегодня печальнее выглядит та половина, та, что призвана, и взялась, и как бы пытается противостоять этой черной чуме. Что ведь главное в нацизме? Принцип селекции, разделение людей на наших-не наших, на своих-чужих, на чистых-нечистых — по крови, по рождению, по окрасу, породе, по всяким внешним, величинным признакам. Так вот, этот принцип уже победил, и не в «Нашем современнике», там он не нужен, там все свои, чужих не бывает, — он победил во всех либеральных изданиях, тех самых, что вроде бы с этим принципом борются. Во всех демократических наших редакциях, самых гласных и перестроечных, идет лихорадочная работа: там считают евреев. Считают авторов, считают героев,веряют число упоминаний и расстановку акцентов. Не перебрать бы, не раздражить бы, не дать бы повода для упреков. Прямо так и говорят:

«Не надо дразнить „Молодую гвардию“». И это ведь уже не по приказу начальства, а из собственного благородного страха. Вот это и есть начало конца . . .

Ну, а евреи что ж? Евреи, конечно, уедут. Одни с радостью, другие с горечью, третьи с отчаянием. Уедут те, кто твердо знает, что надо уехать, и те, кто твердо знает, что надо остаться. Те немногие, что и впрямь останутся, не изменяя общей картины отъезда. Все уедут, и не от страха — от унижения. Потому что даже если когда-нибудь все образуется и нацизм запретит высочайшим указом, и всех нацистских пропагандистов, будь они писатели-расписатели, герои-чекисты, героини-чекисты, генералы-маршалы, — оштрафуют на сорок тысяч рублей и посадят на десять дней под арест, все равно сегодняшнее унижение таковым в нашей памяти и останется. (Да, в памяти, без кавычек, неужели теперь каждый раз оговаривать? Как написал мне мой друг из Чикаго: «Такое прекрасное слово испоганили!») Уедут евреи и полукровки, и кварталеры, и кто не записан, и породненные, и чисто русские, и чисто-чисто-чисто русские, так до конца и не осознавшие всех преимуществ своей чистоты, но не вынесшие, своего ли, чужого ли, унижения и позора. Назовем их всех обобщенно — «евреи» . . . Впрочем, так их уже и называют. Они — уедут.

Борьба с евреем — это борьба не с евреем, но с каждым, кого догадал черт родиться в этой стране с умом и талантом. Борьба с евреем — это борьба с Россией, с той духовной, небесной, как хотите зовите, родиной, без которой не могут наши русско-еврейские души существовать ни в одной точке земного пространства. Выдержит ли эту борьбу Россия, сможет ли в ней устоять — вот главный вопрос. Но боюсь, он будет решен уже без евреев. А тогда — не ясно ли, как он будет решен? . .

1986—1989
Москва

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ВИКТОРА АСТАФЬЕВА

Переписка Н. Эйдельмана с В. Астафьевым продолжает — и по прошествии нескольких лет — привлекать к себе внимание, возбуждать споры, порождать вопросы, о чем свидетельствует появление статьи Ю. Карабчиевского. Каковы же позиции самих спорящих сторон? Точка зрения Н. Эйдельмана четко выражена в его письме, завершающем переписку. В. Астафьев разъяснил свою позицию в интервью, данном в 1988 г. писателю Дм. Савицкому для французской газеты «Libération». В публикацию газеты часть интервью, посвященная Эйдельману, не вошла, но была передана по радио «Свобода» и позднее помещена в бюллетене, издаваемом исследовательским отделом радио. Публикация осуществлена по магнитофонной записи с сохранением всех особенностей устной речи.

Другая совершенно тема, вы опять же от нее можете отказаться, если она вам неприятна. На Западе про нее знают, значит, и обсуждают письмо вам Эйдельмана. Мне хотелось бы, чтобы вы по этому поводу высказались конкретно.

Вот на Западе и у нас сделали вид, что не Эйдельман мне первый написал, понимаете, так немножко подложили уже. Все-таки написал он мне первым, пусть они об этом . . .

У нас говорят, что он вам первый написал.

Да. Причем написал в очень сложный для меня момент. Выждал время, когда ему казалось, что он меня добьет. Хотя он незнакомый мне товарищ, я никогда его не видел нигде, но привычка этой нации соваться в любую дырку, затычкой везде быть, она просто не дает покоя. И когда они увидели, что сгруппировалась какая-то небольшая кучка писателей, они подумали по-прежнему, что мы очень разьединенные, что поодиночке нас можно бить. А тут тем более устроили мне травлю на съезде, значит, товарищи-грузины, потом еще . . .

За «Ловлю пескарей»!

Да, за «Ловлю пескарей», так сказать, произведение совершенно, по-моему, честное, объективное, с уважением к Грузии написано и к грузинам, хорошим грузинам, а к плохим — я и к русским так же пишу, так сказать, никаких разделений не делаю.

Я получил это в очень сложное для меня, действительно, время, значит, так сказать, и . . .

Это был съезд писательский!

Да, это после съезда, он через несколько месяцев, съезд в июле был, он мне написал в сентябре, хотя обрушилось все на меня, например, в июне — в августе. Он, так сказать, подождал, он человек очень подлый, конечно. И все его письмо очень подлое, хотя сверху благолепное такое. Я подумал, можно, значит, с ним вступить в какую-то полемику, но, во-первых, мне не хотелось, во-вторых, много чести. И тогда я по-детдомовски, по-нашему так, по-деревенски. В детдоме, как я жил раньше, если начали, нож вытащили — должен быть у тебя нож, дрыну взяли — у того дрын должен быть, маленьких не бить, так сказать, больного не трогать, вот, ну а если тронут — получи по рогам, вот. И я ему, очень не мудря, сел и от ручки, я даже не печатал на машинке, поскольку я сам не печатаю, — жена, за десять минут написал это письмо. Что там есть, как, но я ему дал просто между глаз. Если бы был он рядом, я бы ему кулаком дал, вот. А так он далеко, я ему письмом дал, потому что, ну, они же

ведь думают, что это уж они, так сказать, пупы мира, вот если, значит, о нас говорят что-то, значит, это ничего, разрешается. А у нас ведь нету никаких таких резервов. Для них весь мир вроде, так сказать, они, где плохо — переедут где лучше. Нам некуда, нам все время, где плохо, там и живем, так сказать.

У вас имеется определенное, конкретное отношение, так сказать, к евреям, живущим в СССР, или!

Ну, а товарищ Эйдельман доформировал это отношение. Как Достоевский говорил: «все мы, русские, немножко антисемиты», он меня теперь сделал большим антисемитом. Но нет, не столько он, сколько сделали письма, хлынувшие на меня потом. И даже не все письма, а те, которые не подписаны. Понимаете, вот есть много, я получил от евреев очень много хороших писем, с отчитыванием этого Эйдельмана, они посылали обычно и туда, и сюда. Получил подписанные письма, характер которых такой, мы и без того бедный народ и добрый, вот, вот у меня еще дед-прадед служил при Павле уже, России помогал, а вы вот там, дядя у меня на фронте воевал. Парень там написал, Герой Советского Союза даже один. Очень хорошо, значит, так сказать, ради Бога! Вот я, например . . . как к русским отношусь, так и к ним. Но то, что он, значит, взбунтил какую-то во мне, значит, ноту зла, вот я отнюдь этим не горжусь и не приветствую, вот. Но антисемитом большим он меня сделал.

Но вы сами себя не считаете!

Ну, я не знаю, как уж считать — не считать, сейчас все равно. Во всяком случае сейчас я уже присматриваюсь. Если раньше — наплевал, у меня в первых рядах, когда был в Москве, значит, еврей, но бывший солдат, правда, так сказать, он сейчас на пенсии. У меня живет друг в Перми, он немножко отличается, так сказать, командир саперного батальона, значит, мы всю жизнь с ним дружим, большой друг. Он знает, кстати говоря, об этой переписке, и он это игнорировал совершенно. Он не обрадовался, не огорчился, ничего, как относился ко мне, так и я к нему отношусь. Понимаете? Вот. Но то, что без подписей хлынуло, вот все-таки из-за угла стрелять, слава Богу . . .

Прямо на ваш адрес!

Ну, конечно, они найдут адрес, все найдут.

Приблизительно о чем!

Ну, вот, допустим, из Украины пишет какая-то, она не очень даже грамотная, — шо вы там за этих паршивых царских детей заступаетесь, их и надо было убить, вот, у меня тетку петлюры убили, так вот, ты за Петлюру, значит, не пишешь, там вот такое вот. Ну, это вот, может быть, такое густопсовое, но оно многое отражает. Есть поэзиящее, есть на двадцати страницах, я не все их читал, мне что-то потом надоело просто потом читать, вот.

ТРОЕ ИЗ ОДНОЙ ЛОДКИ

Материалы, которые вы прочтете ниже, носят не совсем обычный характер, и в редакции шли долгие споры относительно их судьбы: они то вписывались в номер, то опять «вылетали» из него. Руководил нами, естественно, не гипертрофированный пиетет к именам «сильных мира сего», а жанровая, да и стилистическая непривычность материалов.

С одной стороны, вроде бы политический портрет крупного государственного деятеля. С другой — написан он в предельно раскованном, почти «непрличном» стиле чуть ли не капустника.

Но поскольку жанр политического портрета в советской публицистике только начинает завоевывать право на существование, можно считать эти три наброска первым приближением к нему. Лишенные возможности, досконально знать подобно западному читателю детали жизни и взглядов людей, определяющих те или иные аспекты экономической, социальной и политической жизни страны (а необходимо помнить, что на определенном уровне значимости личная жизнь человека перестает быть только и исключительно его достоянием — но это так, к слову, ибо до этого нам еще далеко), мы читаем их выступления, смотрим на них, вещающих с экранов телевизоров . . . вот, собственно, и все источники, из которых мы можем что-то узнать о людях, играющих в нашей жизни немалую роль.

Но, как выясняется, даже эта отцеженная информация может дать основания для небезынтересных размышлений, в основе которых лежит убеждение, что какой бы «имидж» ни хотел создать себе человек, даже его выбор многое может сказать о нем, а если к тому же присовокупить анализ языковых оборотов, излюбленных концепций и скупых биографических данных . . .

Скажем так — это размышления над образом человека, только что исчезнувшего с потухшего экрана телевизора, но чье имя тут же всплывает на газетном листе и звучит по радио; размышления порой ехидные и насмешливые, но неизменно внимательные и заинтересованные.

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

... Бетонный лес гудит в потемках...
Моя безликая страна,
ответь мне, на каких обломках
напишут наши имена?!

Михаил Гаврюшин

У Юрия Николаевича нет никаких сомнений ни в чем, он сейчас выступил очень спокойно, уверенно, хлестко, «на публику», с точным расчетом понравиться людям, которые уже с трудом произносят слова «социализм», «Советская власть».

Народный депутат СССР С. А. Медведев, первый секретарь Северо-Казахстанского обкома КП Казахстана (стенограмма II Съезда)

Много лет на непроглядном небосклоне нашей политической жизни тускло и занудно светился только один Афанасьев, к распространенной русской фамилии которого не требовалось отдельных пояснений, — редактор нашей древней и замечательной газеты «Правда», так мило названной Василием Аксеновым в романе «Бумажный пейзаж» газетой «Самое Честное Слово». Однако небосклон расчистился и засверкал звездами различной величины. Правдинский Афанасьев погас. И остался на прямо-таки блистающем небосклоне нашей же политической жизни опять всего один Афанасьев, к фамилии которого, несмотря на ее широкую распространенность, уже тоже не требуется никаких пояснений. Только нынешний Афанасьев, народный депутат СССР, ректор Московского историко-архивного института, профессор, — с противоположным предыдущему Афанасьеву знаком. Исходя из моих политических убеждений, самых что ни на есть леворадикальных, — с положительным. Но и этот положительный знак далеко не однозначен.

... Знаменательным субботним утром 27 мая 1989 года я проснулась очень поздно. И, не открывая глаз, сразу же «врубилась» телевизор, так как шел третий день лучшей шоу-программы года — I Съезда народных депутатов СССР. На экране кри-

чал на съезд Гавриил Харитонович Попов. Я немедленно сделала вывод, что, пока я спала, на съезде произошло что-то неординарное. Я обзвонила друзей и спросила, почему кричит Попов. Мне объяснили.

Это был звездный час Юрия Николаевича Афанасьева. Это был звездный час съезда. Это был звездный час нашей юной по возрасту, но усталой на вид демократии. (Вернее, демократизации — демократия у нас наступила, если верить агентству Рейтер, только в дни февральского Пленума ЦК КПСС, смирившегося с перспективой мульти- или поли-.) Это был звездный час только что избранного Верховного Совета, сразу же обозванного «сталинско-брежневским». Надо отметить, что Верховный Совет до того разобиделся на нанесенное ему оскорбление, что уже к зиме стал даже иногда проявлять некоторую, пока еще совсем робкую, самостоятельность.

Впервые прогремела на весь мир историческая фраза: «агрессивно-послушное большинство». Отчего агрессивно-послушное большинство вздрогнуло, озлобилось и впало в еще более послушную агрессию.

Юрий Николаевич Афанасьев вошел в Историю, сбегая с трибуны под овацию и вставание немногочисленной части депутатов, не принадлежащей к этому большинству, и подликование у экранов телевизоров.

До того знаменательного дня имя Юрия Николаевича Афанасьева возникло для меня трижды. Первый раз в связи с эпопеей его избрания на XIX партконференцию. Из этой эпопеи мною был сделан простой и неприхотливый вывод: если МГК не хочет Афанасьева на партконференцию «пускать», значит, Юрий Афанасьев — «наш человек». Правда, все уже и для МГК стало к 1988 году не так просто, как во времена Гришина. Поэтому оказался и Юрий Афанасьев на партконференции.

Подозрения, что Юрий Афанасьев «наш человек», усилились после публикации в «Правде» статьи «Ответы историка» (26.07.1988), а особенно от брызжущего слюной редакционного комментария. Так с чувством могли топтать только «нашего». Душа возрадовалась. Это были замечательные ответы партийному ортодоксу П. Кузнецову на его замшелые сталинско-брежневские вопросы. Но это были, тем не менее, ответы радикального члена партии консервативному члену партии. Это были, несмотря ни на что, ответы члена партии. Не вина, а беда Юрия Николаевича (да и не только его), что членство в партии, дискредитировавшей себя в течение 72 лет, вызывает неясное томление и тоскливый вопрос: «Ну вы-то там зачем?»

И в третий раз (до I Съезда) Юрий Афанасьев начисто поразил мое воображение на митинге в Таллинне, посвященном (если этому можно что-то посвящать) годовщине пакта Молотова—Риббентропа. На всю огромную площадь прозвучали слова о секретных протоколах и об оккупации Прибалтики в 1940 году.

Все. Я была сражена. Одно дело, когда это говорят наши прибалты, и совсем другое, когда это говорит историк из Москвы, которому, казалось бы, какое дело до наших проблем...

Членство в КПСС Афанасьеву было мною прощено. С кем не бывает...

Отступлю немного в сторону. Общество «Память» выкрикивает на своих митингах, что Юрий Николаевич Афанасьев племянник «то ли Каменева, то ли Зиновьева». Сама постановка вопроса («то ли того, то ли другого») напоминает знакомый по школе исторический жупел: «Бухарин, Каменев, Зиновьев». Правда, общество «Память» волнуется не поли-

тический аспект, а национальный. Какая разница, чей родственник Юрий Николаевич? Он сам по себе, несомненно, фигура первого плана нашей тяжелой политической действительности.

Я не буду анализировать политическую программу Юрия Афанасьева. Она всем известна — и сторонникам, и противникам — по выступлениям, статьям, гонениям. Она представляется мне вполне конструктивной — при нашей советской бедности на конструктивные программы. Тому последний пример — экономическая программа, принятая на II Съезде. В афанасьевской программе проглядывает какой-то выход из рокового лабиринта, официально именуемого — 72 года победы Октября со всеми вытекающими из этой победы последствиями.

... До I Съезда было создание общества «Мемориал», председателем которого является Юрий Афанасьев, после съезда — митинги и рождение Межрегиональной депутатской группы (МДГ). Была работа в комиссии по политической и правовой оценке пакта Молотова—Риббентропа. Работа, окончившаяся в нашу пользу.

Позднее почему-то возникли вопросы. А чего, собственно, хочет Юрий Афанасьев? Ну да, со всеми его политическими программами и высказываниями я полностью согласна, готова подписаться, пробастовать и т. д. А для себя он чего хочет? Любый политик что-то хочет и для себя извлечь из своей политики.

Ну, крики с трибуны и справа: «Власти хотят! Власти!» — мы все слышали. Тем, кто это кричит, и тем, кто эти крики разделяет, отвечаю: что ж это за политик, который не хочет власти? И зачем они все там, народные депутаты, как не вершить власть? Андрей Дмитриевич Сахаров был особая статья — во власти он не нуждался. Он был Андрей Дмитриевич Сахаров.

Термин «личные амбиции» тоже с удовольствием склонялся — на II Съезде. Стрелы, надо полагать, в основном летели по двум адресам — Юрия Николаевича и Бориса Николаевича. Послушайте! А что неприличного в пресловутых «личных амбициях»? Были бы личности!

У нас как какое выражение западет

в душу народную, вроде знаменитых слов «экстремист», «националист», «сепаратист», «популист», то всё, держись, это навсегда. Еще, например, «разгул демократии». Редкое по ма-разму словосочетание. Не может быть «разгула демократии»! Или она есть, или ее нет. Теперь появилась и вошла в словарный запас «митинговая демократия». Граждане! У нас почти 70 лет не было митингов в революционном понимании этого слова. Газета «Правда» в упомянутом выше редакционном комментарии особо уличила Юрия Николаевича в любви к митингам. Извините, а где еще можно пообщаться с газдой на глаз с народом, который жаждет этого общения? Тем более, что это наиболее действенный метод, особенно если говорить о том, о чем за 70 лет привыкли говорить на кухнях, а в некоторые времена только сами с собой и ночью. Центральные газеты у нас все как-то не очень, как-то другие там больше высказываются, а если что, то обязательно комментарий. ЦТ «под настроение» еще может выделить минут пять или десять. Так что остается — «митинговая демократия». Причем, как видно из ленинградского опыта, «митинговая партократия» как-то не задалась.

Но почему совершенно неудобоваримый термин — «авторитарная демократия» — пришел мне в голову именно в связи с Юрием Афанасьевым? И именно тогда, когда Юрий Николаевич зачитывал на II Съезде заявление Межрегиональной группы (само собой, в пункте «разное», когда ж еще?). Так вот. Вышел на трибуну Юрий Афанасьев и очень тихо, очень спокойно зачитал заявление МДГ. Бедный съезд! Даже Андрей Дмитриевич, выходя на трибуну, непроизвольно повышал голос, чтобы докричаться до агрессивно-послушного большинства. Я уже не говорю про первых и вторых секретарей, директоров, председателей, ветеранов и т. д. Видимо, это свойство трибуны — хочется говорить громко, пусть не всегда убедительно, но зато громко.

А Юрий Николаевич читал заявление МДГ тихим приятным голосом. Зал замер, вытянул шею и напрягся. Потом написали: «в напряженной тишине». Я бы добавила: в редкой для этого съезда тишине.

И я подумала: как интересно. Это расчет или просто товарищ не в глосе?

А уже потом, то ли «в связи», то ли нет, и возник термин «авторитарная демократия». Я немедленно поделилась своей фразеологической находкой со знакомым политиком и была изругана. Мне было объявлено, что такого просто не может быть. Это что такое?

Это когда человек у власти добивается демократии авторитарными методами.

Юрий Николаевич, несомненно, человек властный и жесткий (для того, чтобы понять это, можно быть просто телезрителем). И несомненно — демократ. Значит: «властный и жесткий демократ». Такое может быть? Это слегка «прослушивается» в интервью межрегиональчиков; это чувствуется по манере себя держать. Это не предвзятость. Мне очень нравится Юрий Афанасьев — как политик, как историк, как публицист. И просто как красивый мужчина.

А для политика внешность и обаяние — дело последнее. Это избираемые от КПСС могут быть какие угодно — родная партия вывезет. А политику-оппозиционеру, митинговому трибуну кроме четкой и ожидаемой народом программы, кроме дара говорить и убеждать, кроме силы противостоять всем силам плохо еще и вид иметь. Этого у Юрия Николаевича никто не отнимет.

Чтобы не расстраиваться, я не стала искать номера журнала «Коммунист» за 1984 год в бытность там Юрия Афанасьева зав. отделом истории. Мало ли что я могла там найти. Хорошо, если ничего, но времена-то были тяжелые, а жить надо было. И я не очень хочу знать и задавать вопросом, как Юрий Николаевич стал профессором истории в наши дорогие застойные годы. В конце концов, только восемь человек вышли в августе 1968 года на Красную площадь. Остальные — несколько миллионов — остались переживать это дело на знаменитых «застойных» кухнях.

Что заставило его, благополучного профессора, ректора, члена КПСС, стать практически главой оппозиции в стране, где демократия находится в полубморочном состоянии — вот-вот брякнется оземь и с концами?

Напрашивается крайне интересный ответ: заставили ум, честь и совесть (без нашей эпохи, конечно). Если что-то другое, то очень грустно.

Юрий Афанасьев по праву входит в первую десятку «хит-парада» политических лидеров. Его мужество и смелость не вызывают сомнений. (Черный народный юмор: «Афанасьеву уже все можно — все равно расстреляют».) Пока он достаточно последователен и принципиален. Я не думаю, чтобы Юрий Николаевич отказался от чего бы то ни было под каким угодно давлением. Впрочем, я всего лишь телезритель. Но полагаю, что его хватит до конца.

Только в чем он, этот конец? И какую роль для себя видит там Афанасьев? Он проповедник суперрадикальных преобразований. Но быстро в нашей стране прошли только коллективизация, индустриализация и массовое переселение народов. Все остальное откладывается «всерьез и надолго».

По-видимому, МДГ ждет судьба оппозиционной парламентской фракции, основной функцией которой будет пребывание в оппозиции. Что будет делать в такой ситуации Афанасьев?

Бескорыстие среди политических деятелей, как правых, так и левых, качество редкое. Для этого надо быть Сахаровым.

Личные качества Юрия Афанасьева для меня загадка, как и для многих. Земля полнится слухами, а советская особенно, ввиду ее до сих пор неутоленного информационного голода.

Это из кухонных бесед московской интеллигенции с рижской: какие-то невнятные рассказы о якобы авторитарном правлении Афанасьева во вверенном ему институте. Верить в это не хочется.

Другой момент. Депутат Ярин, к которому я, сразу оговорюсь, не могу питать теплых чувств ввиду занятия им поста руководителя Объединенного фронта трудящихся России, родного брата нашего Интерфронта; так вот, депутат Ярин всенародно возмущался через «Огонек» тем, что Юрий Афанасьев на собрании МДГ в Доме кинематографистов преступно не

пресек выкрики из зала: «Слава Афанасьеву!»

Мне тоже не очень-то такие выкрики. Но мне кажется, что пресекать их самому Юрию Николаевичу было бы вульгарно и недостойно. Лучшее всего было их просто не заметить, что, видимо, он и сделал. Эти крики на совести тех, кто кричал. Но поступок Ярина не может не вызвать удивления: он хотел встать и публично указать Афанасьеву на возмутительность подобных криков. После этого только бы и оставалось, что закричать: «Слава Ярину!»

Если слава и оказывает на Афанасьева какое-то влияние, то, на мой взгляд, пока позитивное. Сравнивая его статьи и интервью хотя бы за 1987 год с нынешними программными заявлениями, можно отметить заметное «полевение» и более радикальный взгляд на марксизм-ленинизм, например. Кроме того, я не считаю, что у Юрия Афанасьева такое же громкое имя, как у Бориса Ельцина. И очень жаль. Но Борис Николаевич шел к ней, славе, своим, несколько экстравагантным путем, что не каждому дано.

Мне не совсем понятно рвение Юрия Николаевича «обновить» КПСС. Чего уж тут обновлять-то? Но, может быть, он видит в этом какой-то путь, который не виден невооруженным беспартийным глазом.

Мое детство, отрочество и юность, а также ранняя молодость пришлись на славные брежневские дни. Поэтому поверить во что бы то ни было для меня почти невозможно. Сегодня, когда я это пишу, прошло ровно 72 года со дня разгона Учредительного собрания. Со страхом ждала во время I Съезда, что опять выйдет матрос Железняков и скажет свое незабвенное: «Караул устал». Или это скажет Михаил Сергеевич, когда ему будет нужно.

Нет, никто не вошел, не сказал.

Последние слова Андрея Дмитриевича Сахарова, ушедшего вечером 14 декабря с собрания МДГ, ушедшего навсегда, были: «Завтра предстоит бой...»

Бой предстоял уже без него. И ответственность за этот бой легла и на плечи Юрия Афанасьева.

рупированной московской торговли, когда Борис Николаевич, указав на свои отечественные «шузы», сказал ей, московской торговле: «И вы в таких походите!» И прочие страсти. Следствием чего было изъятие Бориса Николаевича из МГК (Московский горком партии) и Политбюро.

Слегка остановлюсь на XIX партконференции. Я думаю, о чем говорил сам Борис Ельцин, мало кто помнит, так как его речь совершенно затмил своим выступлением, впоследствии разобранном неблагодарным народом на цитаты, Егор Кузьмич Лигачев. Никто столько не сделал для популярности Бориса Николаевича, как Егор Кузьмич. (У Шекспира в «Двенадцатой ночи» есть такой милый персонаж, который говорит, в связи с каким-то совершенным им безобразием, замечательные слова: «А если я что и сделал, то это все сэр Тоби!»)

Вернемся к партконференции. Простому советскому телезрителю было весело. Простой советский телезритель резвился. Нечасто простому советскому телезрителю случалось порезвиться, слушая дебаты на партконференции. И обсуждать ее потом, как чемпионат мира по футболу.

Борис Николаевич укрепил свои позиции народного героя и аппаратчика-мученика.

Он был тогда еще несколько одинок. Не было плеяды народных депутатов. Не было Межрегиональной группы.

И они занимали с М. С. Горбачевым первые десять мест в списке лидеров перестройки. Одиннадцатым шел Виталий Коротич. (Я намеренно не пишу об Андрее Дмитриевиче Сахарове — это ведь совсем другое.)

И страшное слово «популист» тогда еще не прилипло к шумной репутации Бориса Ельцина. (Про это слово хочется закричать: «Автор! Автор!» — в словарях, даже иностранных слов, его нет, не говоря уже про Ожегова.)

Ладно. Опустим промежуток времени между партконференцией и нынешним днем, вобравший в себя столько страстей (к ним я еще вернусь). А в начале 1990 года от Рождества Христова любопытство советского человека: «Где же в следующий раз приземлятся советские танки?» — было наконец полностью удовлетво-

рено. По словам радио «Свобода», японская компартия заявила свой протест по поводу бакинского их, танков, нового местопребывания. Я позволила себе удивиться: «А почему вдруг именно японская?» Удивилась я публично. Мне весело объяснили: «А там Борис Николаевич!» В Японии, в смысле. «А, — сказала я, — тогда конечно».

Я очень сложно отношусь к Борису Николаевичу Ельцину. Мой предыдущий «герой» — Ю. Н. Афанасьев, — хотя и вызывает легкий страх своим ярко выраженным «авторитарным демократизмом», все же мне ближе, только я стою еще левее. (Правда, Юрий Афанасьев «левет» уже не по годам и месяцам, как раньше, а по дням и часам.) А вот Борис Николаевич!

Просто написать: «не верю». Но это не то. Может быть, как раз и верю.

Пять миллионов москвичей взяли и проголосовали за него. 89 процентов. Очень впечатляет. И я б проголосовала, как проголосовали все мои московские родственники и друзья. Но не за Бориса Ельцина, а в пику партаппарату. Сколько из этих 89% проголосовали из аналогичных «идейных» соображений? А немало, я думаю.

Потом стране пришлось в очередной раз вздрогнуть от негодования, когда Ельцина «прокатили» в Верховный Совет СССР. (Я, признаюсь, больше озверела от факта неизбрания Г. Попова, И. Заславского, а также Ю. Черниченко.) Но народный депутат Казанник совершил благородный поступок, страна облегченно вздохнула, и Борис Николаевич занял свое место в Верховном Совете. А я теперь начинаю думать, что предпочла бы там депутата Казанника. А лучше обоих. А еще лучше заодно и Г. Попова, И. Заславского и Ю. Черниченко.

«Популист»! Еще была когда-то «кибернетика» (или генетика) — «продажная девка» антагонистического строя. Где-то на днях нашла, кажется в интервью с самим Борисом Николаевичем, что такое «популист». Это, оказывается, человек, пользующийся дешевой популярностью в народе и умело ею пользующийся. Значит, если мыслить логически,

5 млн москвичей и еще столько по стране в целом попались на удочку «дешевой популярности»? Тогда еще вопрос: а что такое дешевая популярность и что такое недешевая? Я лично понятия не имею. Но одно могу сказать: НЕПОПУЛЯРНОСТЬ партаппарата явно недешевая, потому что слишком дорого обошлась народу и стране. И вообще я заметила: если популярность большая, то она обязательно дешевая. Одним словом, народ у нас оценивается крайне невысоко — что ему нравится, то и дешево.

Мне попался первый и, по-моему, последний номер независимой газеты «Трибуна». Там на большинстве страниц имеет место стенограмма встречи Б. Ельцина с избирателями в г. Зеленограде 22 сентября 1989 года. По-видимому, эта встреча и демонстрирует пресловутый популизм в его чистом, первоначальном виде. Мне бы хотелось взглянуть на этих избирателей, т. е. для полноты картины. Все ответы Бориса Николаевича на все вопросы были именно такие, какие зал прямо-таки рвался услышать. И впечатление это оставляет несколько фарсовое. Люди пришли услышать, что Горбачев тормозит, что Лигачева давно пора, что Сухарев — лучший враг Тельмана Хореновича, что газета «Правда» и В. Афанасьев — главные камни на нашем светлом пути и т. д. И они все это услышали. Ответы Бориса Николаевича умалили простотой своей и доступностью для жаждущего уха народного. Правда, и напоминало это слегка давнего Жванецкого: «Правда ли, что там-то строят мост?» — «Правда, строят».

Чего стоит один только пассаж: «... Надо лишить власти Горбачева, иначе он развалит всю страну!» («Трибуна», с. 3). Можно очень поразному относиться к генсеку, но пусть Борис Николаевич назовет альтернативную кандидатуру. Кроме самого себя, разумеется. В общем, иногда хочется «сказать» историческую цитату Егора Кузьмича, а иногда закричать: «Прав! Прав!»

Из всего вышесказанного вряд ли вытекает, что я вхожу в число поклонников Бориса Ельцина. Но надо смотреть на вещи реально. Однозначные фигуры пробиваются в «люди» гораздо чаще неоднозначных. Благодаря членству в КПСС и фортуны. При-

чем могут пробиться ужас как высоко. Пример тому: Л. И. Брежнев, К. У. Черненко.

Борис Николаевич Ельцин достиг высот немалых. Кандидат в члены Политбюро правящей (а какой еще, если другой нет?) партии. Впрочем, сей факт отошел в Историю КПСС, не знаю какого только года издания. То есть он, Борис Николаевич, был в самой что ни на есть главной цитадели партаппарата. (Он и сейчас член ЦК КПСС, что несколько удивляет.)

Вспоминать всем и каждому, как это у нас любят, их здравицы в честь незабываемого Леонида Ильича — дело неблагодарное. Гораздо легче перечислить ту пару десятков человек, которая их не пела. А уж требовать этого от бывшего кандидата в члены Политбюро и вовсе смешно.

От того, как перестроился Борис Николаевич, треску и шуму было на весь мир.

Считается и внедряется в умы наши, что перестройку начал Михаил Сергеевич. А что ему оставалось-то? Ну, допустим, ладно, он ее действительно, родимую, начал и он ее лидер, вернее, теперь-то экс-лидер, застрявший где-то посередине забега.

Далее возникает «вопрос по Борису Николаевичу». Почему он, представитель высшего эшелона, вдруг оказался, мягко говоря, оппозиционером. Имею на сей счет две версии, не слишком лестные для Бориса Николаевича, — ну, что ж делать, ежели действительность не вдохновляет на веру в бескорыстные порывы партаппаратчиков?

Первая. Народный расклад. Так было и в благословенные времена стагнации: этот дядя в Политбюро — добрый, тот — злой, этот — радикал (правда, это слово было в те времена неупотребляемо всуе), тот — консерватор. В пору моего детства добрым и либеральным считался Косыгин (версия не подтвердилась), а злым и консервативным — Суслов (действительность превзошла все догадки). Леонид Ильич был просто герой фольклора. То же случилось и в «перестроечном» Политбюро. Роли распределились: Михаил Сергеевич — лидер, но центрист, Егор Кузьмич — консерватор и сталинист (Господи, и чего мы все к нему пристали?), а Борис Николаевич Ельцин, первый секретарь МГК и кандидат в члены

Политбюро, — радикал. И тут, мне кажется, случилось вот что: Ельцин «переусердствовал» в игре в радикализм, где-то преступил грань, проведенную Политбюро, и вот все мы знаем результат.

Версия вторая. Борис Николаевич решил самовыразиться. Один лидер в лице Горбачева уже имел место, а быть просто радикальным кандидатом в члены Политбюро стало Ельцину нелегко — его потенциальные возможности рвались вдале, вширь и вверх. И он, совершив необратимое на том, тайной сокрытом, октябрьском Пленуме 1987 г., заблестал во всей своей красе на необъятных просторах нашей многообразной родины. А ей только покажись.

Много ли в этом искреннего порыва «восстановить доброе имя партии»? Я думаю, Борис Николаевич понимает, что восстанавливать там уже нечего. Однако крепко держится за ЦК.

Все это сложно. Чужая душа потемки, а уж тем более, если человека зовут Борис Ельцин.

Теперь я вернусь немного к «этапам большого пути» Бориса Николаевича Ельцина.

Поездка в Америку. О, Боже! «Пьян или не пьян?» Под обсуждение этой глобальной проблемы нашего бытия я ехала на работу, работала, ехала с работы. Над головой стояло бесконечное: «Пил или не пил?»

Газета «Правда» решила этот вопрос для себя быстро, положительно, но неэффективно. Вследствие чего главный редактор В. Афанасьев отбыл в неизвестном направлении на научную работу. А Борис Николаевич получил некоторую сатисфакцию. Народ опять же был доволен таким оборотом дела. Но вопрос мучил и не давал народу покоя: «А все ж — пил?» Тут и ЦТ подоспело с видеозаписью. Я ее не видела, поэтому своего личного впечатления поведать миру не могу, к собственному сожалению. Очевидцы во мнениях разошлись, долго кричали и ругались.

А если пил? Просто его показали, а других-то не показывают. Вот и все. Тоже мне, страна трезвенников. В моем мнении он не рухнул — остался там же, на своем месте. А народ опять пожалел его, между прочим, и написал много писем.

Борису Николаевичу все идет на пользу. Партаппарат как будто специально занимается поддержанием неослабевающей популярности Ельцина. Создал, например, на Пленуме ЦК комиссию по неэтичному поведению члена ЦК Б. Ельцина (кажется, она так называлась, и как она там, кстати, поживает?). Результатом ее создания было триумфальное избрание Ельцина в народные депутаты СССР. Прямо что-то демоническое есть в этом.

Теперь возьмемся за коренной вопрос. Ну да, о власти. Тут сказать нечего. Власть Борис Николаевич хочет. Честно и неприкрыто. Повторюсь: как всякий уважающий себя политик. Претендовать на пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР он мог, но понимал, что «реальность» не на его стороне, и вполне закономерно снял свою кандидатуру. Честно говоря, «реальность» редко бывает на стороне Бориса Николаевича. Это вообще беда всей Межрегиональной группы. На их стороне субъективная реальность, но отнюдь не объективная. Бал правит аппарат.

Но сейчас Борис Николаевич собрался выдвинуть свою кандидатуру на пост Председателя Верховного Совета РСФСР. Бог ему, конечно, в помощь. Совсем неплохо иметь на таком посту сопредседателя МДГ, к тому же весьма сочувственно относящегося к самоопределению Прибалтики. Это с точки зрения жительницы Прибалтики. Жительницы Латвии. А с точки зрения жителя РСФСР? Трудно судить со стороны.

Но на мой непросвещенный взгляд, Борис Ельцин стал несколько одиозен для какого-либо чересчур крупного поста. Одиозен — в значении «нежелателен», а не в значении «неприятный, вызывающий крайне отрицательное отношение к себе». А желателен ли вообще? И что думать по этому поводу другие сопредседатели МДГ?

Иногда мне приходит в голову весьма кощунственная мысль: а не является ли Борис Ельцин, так сказать, «фигурой прикрытия» для «межрегиональчиков»? Я поясню свою мысль. «Прикрытия» отнюдь не в плане, что-де «межрегиональчики» строят какие-то страшные козни

супротив дорогой нашей советской власти, как искренне считает часть агрессивно-послушного большинства, а светлым ликом Бориса Николаевича при этом прикрываются. Нет, немножко наоборот. Борис Николаевич, как я подробно писала выше, страшно популярен в народе: 2-е место в конкурсе газеты «Советская молодежь» на звание «Мужчина года» — пропустил вперед себя только «психотерапевта». Чего не скажешь об остальных сопредседателях. Они, несомненно, популярны, но их популярность носит более утилитарный характер. Или даже элитарный. (Я не касаюсь А. Д. Сахарова — к нашему великому горю, в списке сопредседателей он больше не значится.) Народ не болел за них с такой душой, как за Бориса Николаевича. Они, несмотря на их любовь к митингам (не дай Бог, не сочтите за осуждение), все же несколько «далеки от народа». А Борис Николаевич близок и почти доступен. Наконец утолена народная тоска по аппаратчику (ну, все-таки член ЦК), который отказался от привилегий, сам в магазин, в наш простой советский магазин, ходит, и обувка на нем наша, советская, и вообще. И, конечно, такой человек нужен в руководстве МДГ как воздух. Но я сильно сомневаюсь, чтобы они делали на него большую ставку и желали бы его видеть в качестве крупноруководящего лица.

Мнение мое чисто субъективное, никакой информацией извне не подтвержденное и как будто оснований под собой не имеющее. Но плюрализм — потому и пишу. Почему-то мне роль Бориса Ельцина в МДГ именно такой и видится.

Мне задали вопрос: «Как я считаю, чего больше в политике Бориса Ельцина — смелости, безоглядности или глупости?» Считаю, что это несомненно смелость, с некоторой долей политической глупости (тоскливо от зеленоградской встречи!), а что касается безоглядности, то тут уже оглядываться-то некуда. Это как у И. Бродского: «Мы, оглядываясь, видим лишь руины».

Борис Николаевич — политический авантюрист не в самом плохом контексте. Иногда ведь и политический

авантюризм приводил к положительным результатам. Один такой авантюрист, светлая ему память, взял и выпустил из лагерей сотни тысяч невиновных, и чтобы он ни натворил потом, на его могиле всегда будут цветы. В общем-то, политика — это всегда в какой-то мере авантюра, особенно в тяжелые времена.

Выходит ли из этого, что я не считаю Б. Н. Ельцина серьезной фигурой в широкой политической трактовке слова «серьезный»? Нельзя не считаться с очевидным — Верховный Совет СССР, член ЦК, 5 млн москвичей, сопредседатель МДГ, разговор с Джорджем Бушем и т. д. Но все равно что-то есть от милого нашего А. М. Кашпировского: «Я пришел сеять добро!!!» Вот именно. Еще что-то пугачевское (не Аллы Борисовны, а Емельяна): «Я пришел, чтобы дать вам волю!» Хотя это и вовсе Степан Разин. В общем, они приходят и уходят, а народ остается с раскрытым ртом. Я просто боюсь, что это тот самый случай. Не дай, конечно, Бог.

Нам мало что остается — сидеть, смотреть и ждать. Мы все-таки еще на галерке, а не в партере. Мы все еще приглашенные, а не полноценные участники.

У нас в Латвии несколько свои проблемы, но мы не можем сказать, что нам наплевать, что будет там, с ними — с Б. Н. Ельциным, Ю. А. Афанасьевым, Г. Х. Поповым, со всей МДГ. Потому что от того, что будет с ними и где они будут, зависит и то, что будет с нами и где будем мы. И наоборот.

Получит ли Б. Н. Ельцин интересующий его пост? Пока это самое интересное. И еще — как он им распорядится.

Но до тех пор с ним может случиться пара историй в его фирменном «ельцинском» стиле. Впрочем, это, как обычно, послужит лишь украшению его неповторимого облика.

Я новый мир хотел построить.
Да больше нечего ломать.

(Владимир Друк. Эпитафия)

Остается надеяться, что еще есть что.

ЕГОР КУЗЬМИЧ

Чистосердечно, откровенно хочу сказать, чертовски хочется заняться конструктивной работой, конкретными делами перестройки, добиться, чтобы в каждой семье быстрее ощутили ее результаты.

Из выступления Е. К. Лигачева на Пленуме ЦК КПСС, 6 февраля 1990 года

Всем своим вот организмом
Сколько он сумеет мочь
Я хочу быть коммунизмом
Чтобы людям здесь помочь
Чтоб младую дорогую
Не растрчивали жизнь
Чуть родились — а я вот он:
Здравствуй, здравствуй, коммунизм!

Дмитрий Пригов

Мы заелись.

Вдруг стали придирчиво выбирать, кто нам в Политбюро нравится, а кто нет. Как будто они кинозвезды или футболисты. Вот Михаила Сергеевича все любят. Даже те, кто против. Николая Ивановича принято сурово критиковать: куда он нас заведет со своими экономическими проектами?! Но при этом относимся мы к Николаю Ивановичу хорошо. Чем-то он нам импонирует. А когда вдруг на историческом Пленуме сказал о многопартийности, так даже и пятилетний план временно забылся. А. Н. Яковлев и Э. А. Шеварднадзе, те просто вне конкуренции. (Я сразу оговорюсь, что выступаю от имени определенной части народа, а не, как у нас любят говорить, от всего народа, нет, нет.) А вот Егор Кузьмич нам, видите ли, совершенно не нравится. Не любим мы его. Консерватором обзываем. А иногда и сталинистом.

Заелись.

Совершенно забыли, что на протяжении шестидесяти с лишним лет все наши славные Политбюро состояли сплошь из одних Егоров Кузьмичей. Это на заре Октябрьского переворота в моде были яркие политические индивидуальности — пусть они и загнули нас Бог знает в какое светлое будущее. Ленин, Троцкий, Бухарин, Каменев, Зиновьев, Дзержинский, Радек, Александра Коллонтай, наконец.

А потом заступили на, казалось, бессмертную вахту ждановы, молотовы, кагановичи, ворошиловы, брежневые, суловы, черненкои.

И так шло до 1985 года. Включительно.

И ничего. Никто не вопил. На митингах не обзывался и плакатами не махал. В пикетах не обругивал. На съездах Советов в виде негативного примера не употреблял. Взятки не шил.

Правда, не было ни митингов, ни пикетов, ни съездов, ни... — чуть было не написала, что и взятки не было.

А вот теперь все — радикалы, умеренные, центристы, инженеры, кооператоры, члены КПСС и нечлены, отдельные члены (ЦК), интеллигенция и рабочий класс — с тяжелой руки Бориса Николаевича Ельцина нашли себе козла отпущения — Егора Кузьмича Лигачева.

Не хочет никто понять Егора Кузьмича-то. А мне вот видится его душа, и в душе этой святая верность идеалам. Идеалам своего детства, когда свернули нэп и завели всерьез и надолго индустриализацию с коллективизацией. Идеалам своей юности, когда давили гнусных врагов народа, и жизнь от этого становилась лучше и веселее. Идеалам своей молодости, когда уничтожались и переселялись черт знает куда целые нации и народ-

ности, населяющие необъятные просторы любимой Отчизны. Идеалам своей зрелости, когда командовал Томским обкомом, посадив область на голодный паек («я обыкновенный советский человек и советский коммунист») и походя потопив в реке массовые захоронения репрессированных (это, говорит, были дезертиры).

Так почему же в старости Егор Кузьмич должен отказаться от своих идеалов? От своего пути, пройденного в ногу? Он честный человек. Он не должен. Он, возможно, и хочет быть таким же раскованным, как его старый боевой друг Борис Николаевич. Но принципами поступиться не может! А чужие принципы, товарищи, надо уважать. На то и плюрализм.

А мы всё скандируем: «В отставку! В отставку!»

Когда и почему мы вцепились в нашего Егора Кузьмича, я не помню. Как-то вдруг взяли и вцепились. А ведь на вид вроде в нем ничего такого протокольного, как например в Трофиме Денисовиче Лысенко было. Словом, обыкновенный советский гражданин и советский коммунист.

Может быть, все началось со знаменитого: «Ты не прав, Борис!»? Помню лишь, как все зашелестело и зашуршало: Лигачев — консерватор, Лигачев — тормоз, Лигачев не любит Горбачева...

Господи, какие же мы все идеалисты! И 72 года советской власти нас не обломали.

Вот встала на II Съезде депутат от профсоюзов Э. Памфилова. (Я тут, кстати, отвлекусь от предмета разговора по причине большого желания предложить Съезду народных депутатов разрешить депутатам от общественных организаций иметь только совещательный голос, а которые не хотят только совещательный, пусть пробаллотироваться по округам, а мы тогда посмотрим, сколько из них вернется на съезд живыми.)

Возвращаюсь к Э. Памфиловой. Встает это небесное создание от профсоюзов и дрожащим, готовым сорваться на слезы голосом взывает к Т. Х. Гдяну, чтобы он тут же, не сходя с места, предъявил доказательства: брал Егор Кузьмич или не брал. Вся страна, мол, ждет, брал ли Егор Кузьмич 30 000 или нет. Страна, само

собой, затаила свое многомиллионное дыхание. А Тельман Хоренович ответил ей, стране, на мой взгляд, очень славно, особенно мне понравилась одна мысль: «... не могу понять, почему именно на этой личности сосредоточено, собственно говоря...» Дальше в стенограмме следует: «шум в зале».

Вот и я не могу понять: почему мы сосредоточились на этой личности? Почему на Егоре Кузьмиче Лигачеве, а не на Виталии Михайловиче Воронникове, например?

Мне вообще кажется, что Егор Кузьмич — образ собирательный. Наша партия собирала его, этот образ, 72 года, любовно возвращая, лелея, хотя, от лагерной повинности освобождая. Правда, Егор Кузьмич как-то с высокой трибуны обмолвился, что и в его семье были репрессированные. В семье-то, может, и были...

На I Съезде, помнится, встал какой-то депутат из «агрессивно-послушного» и сказал что-то в смысле, дескать, Егор Кузьмич — олицетворение партии, ее совесть. Это верно.

Все деяния Егора Кузьмича видны невооруженным глазом и отличаются чисто партийной неприязнательностью. Недаром же сказала про него журналистка из «Аргументов и фактов», что он «прост как правда». Я думаю, она имела в виду газету.

Та памятная для страны пора, когда Егор Кузьмич возглавлял нашу с вами идеологию, ознаменовалась некоторыми громкими делами. Самый оглушительным было, конечно, письмо Нины Андреевой, которое мы от ужаса ксерокопировали на долгую память. Но про это уже столько сказано и написано! И вовсе не доказано, между прочим, что раз идеологию возглавлял Егор Кузьмич и что раз все остальные руководители были в отъезде, то это он и приложил руку. Это все наши досужие домыслы, между прочим.

Но вот на одном событии, случившемся о ту пору и обидевшем меня кровно, я приостановлюсь. Тем более из некоторых источников знаю, что тут не обошлось без трудовых рук Егора Кузьмича.

Одним чудным февральским вечером, заметьте — в пятницу, вдруг, без объявления войны, в программе «Взгляд» вместо А. Любимова, Д. Захарова и В. Листьева внезапно возник

моложавый Володя Мукусев. В воздухе явственно запахло любимой застойной передачей «Мир и молодежь». Правда, бывший комсомольский журналист перестроился и даже иногда выдает вещи, тянущие на «10 лет без права переписки». И не прошло и 4 месяцев, как вышеупомянутая очаровательная тройка, без которой пятница была не в кайф, появилась во «Взгляде», мотивировав свое трехмесячное отсутствие чем-то малочленораздельным. Возвращение их случилось чуть ли не через день после сошествия Егора Кузьмича с поста главного идеолога страны.

Нелегкая партийная судьба зашвырнула потом Егора Кузьмича на сельское хозяйство. Я это комментировать отказываюсь. Для меня тут вопрос вот в чем: или он скрыл от народа свое сельскохозяйственное образование, или Политбюро решило, что у нас тут все так прочно, что и развалить нельзя. Злые языки говорят, что была у Лигачева сильная и новая идея: колхозы. И это все решило.

Да, любит Егор Кузьмич колхозы. Не скрывает. Не может он так, ни с того ни с сего отдать на попранье «вольнице спекулятивных кооператоров».

Про ознакомительные поездки Егора Кузьмича по стране лучше, чем сказал на I Съезде Юрий Черниченко, не скажешь. Жаль только, что его поездку в родной обком, в город Томск, наше ЦТ освещало преступно мало. Ни пикетов не показало, ни плакатов у входа в зал, где проходила историческая пресс-конференция. Спасибо, что есть у нас в Советском Союзе, в городе Мюнхене, радиостанция «Свобода», которая поездку осветила широко и очень даже беспристрастно.

Выступает Егор Кузьмич не так уж часто. Но всегда со страшной силой. Слова его вмиг расходятся по стране, как цитаты из «Двенадцати стульев». Почти каждая речь — бестселлер.

Сколько материала дала ответная, защитительная речь Егора Кузьмича на II Съезде, где он проходил по делу Гдяна и Иванова. Был он сам себе адвокат и даже называл себя в третьем лице: «Лигачев», что придавало дополнительную остроту и значительность всему сказанному.

Ну, с деньгами Бог с ними, в конце концов тридцать тысяч — не деньги, не стоило и шума поднимать. Вот цитата из самого Егора Кузьмича: «... как раз здесь и приписывается первая взятка Лигачеву, это парадокс, который пытаются сделать фактом» (!?).

Очень мне понравилось вот такое место в этой речи: «... знамя борьбы против коррупции и взяточничества подняла наша партия, и прежде всего после апрельского Пленума 1985 года». Ну, во-первых, не после апрельского Пленума, и поднял вышеупомянутое «знамя борьбы» Ю. В. Андропов. А во-вторых, партия у нас все привыкла делать сама.

И еще один момент по поводу вопля следователя Иванова, что найдутся у нас еще свои Живковы и Хонекеры. А Егор Кузьмич ответил на эту ивановскую угрозу так: «... хочу со всей ответственностью сказать, что руководство нашей партии делало все необходимое, все возможное для того, чтобы избавить наши братские народы от коррупции, взяточничества, от беззакония, что творились в этих странах».

Правда, не знаю, что такое «все необходимое». Видела по ТВ — вручали ордена и медали, улыбались, пожимали руки, фотографировались, обнимались (в последнее время ТВ очень умело вырезало поцелуи). Вот закатный чаушеский съезд посетили. Хлопали там и приветствовали. Ну и что? Никто не знал, что «кровавый диктатор» выяснится. Это же для всех — гром с ясного неба, не так ли?

Но вообще речь хорошая. Главное, как и все, что делает Егор Кузьмич, искренняя.

Но вот последняя речь, имевшая место на февральском Пленуме 1990 года, говорят, неоднократно прерывалась аплодисментами. Было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Уже первая фраза убила меня наповал: «Я думаю, что вы согласитесь, если скажу, что самым ценным в нашей жизни всегда была уверенность советских людей в завтрашнем дне, а ведь это и есть социализм, во всяком случае характерная его черта». Понятно вам, наконец, что такое социализм? Это когда есть нечего, сахар и мыло по талонам, носить

нечего, общественные фонды потребления в 96 раз ниже шведских, нынешний рубль стоит 18 копеек, сотни тысяч людей под угрозой безработицы, квартира 14 квадратных метров на двоих, рэкет в подъезде, Борис Николаевич кричит о гражданской войне, но откуда-то есть УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ.

Далее беру наиболее понравившиеся места по тексту.

«Люди все больше понимают, что демократия немыслима без дисциплины. Падение дисциплины, товарищи, привело к огромным потерям. Я бы сказал, к небывалому оживлению делачества и местничества».

Улавливаете связь между демократией, дисциплиной, делачеством и местничеством?

А дальше — полный облом, как мы говорили в детстве.

Заложил Егор Кузьмич все любимое народом Политбюро — и Михаила Сергеевича, и Александра Николаевича, и Эдуарда Амвросиевича, и Николая Ивановича. Пофамильно. Всех повязал тбилискими событиями. Все они, сказал, единогласно одобрили «политические рекомендации, касающиеся развития событий в Тбилиси». Вот так. Вообще-то мы и раньше так думали. Но как-то всё старались делать вид, что да, конечно, Родионов и Патишвили, ну, конечно, и Егор Кузьмич, как же без него? А всех остальных и в стране-то не было. Ан нет. Егор Кузьмич, верный своей привычке резать правду-матку в глаза («Ты не прав, Борис!»), взял и разбил нашу весьма, правда, шаткую иллюзию, что уж они-то тут ни при чем.

Очень хорошо сказал он в этой речи про «единство партии». Сказал-то хорошо, но не вовремя — как раз через день после московского демократического митинга. Но что поделаешь: хочется единства? Хочется!

Финальную часть речи желающие могут посмотреть в эпиграфе к статье. Есть там некоторая недосказанность. За чертовским желанием конструктивной работы слышится как бы обида, что мешают, не дают. Все эти дискуссии, республики, советы, плюрализмы . . . Словом, вся эта гласность с перестройкой . . .

Во второй речи на Пленуме меня заинтересовал только один фра-

зеологический оборот: «. . . я думаю, что вы меня не заподозрите в неискренности, если скажу . . .»

В искренность Егора Кузьмича я верю всерьез. Он сам очень верит в то, что говорит. Убедена — он очень хочет быть прогрессивным, как Михаил Сергеевич, Эдуард Амвросиевич и Николай Иванович (как Александр Николаевич — вряд ли). Хочет. Но не может. Жизнь в партаппарате так просто из сердца не выкинешь.

По-моему, считать Егора Кузьмича главным тормозом — непростительно. Перед глазами тотчас всплывает картина — прет по железнодорожному полотну поезд под названием Перестройка, а на путях стоит одинокий Егор Кузьмич. Но . . . Во-первых, и поезд никуда пока еще так особенно далеко не отъехал, во-вторых, Егор Кузьмич, между прочим, едет с нами в том же поезде. И имя Егору Кузьмичу — Партаппарат. И нечего на одного человека всех застойных собак навешивать.

Это все от нашей радикальной предвзятости. К примеру, все руководители по стране разъезжают, и для всех города красят и подметают всем городом, и на прилавки тотчас весь годовой мясной запас выбрасывают. Но почему-то пресса, та, которая полеее, любит в этом свете только поездки Егора Кузьмича описывать. Вот и «Советская молодежь» не удержалась и поведала, как в городе Витебске во время визита дорогого гостя объявилось несколько сортов ветчины. А я и не знала даже, что она бывает нескольких сортов, я думала, что ветчина — это имя собственное. А если бы Николай Иванович поехал? И город бы подмели, и ветчину бы предьявили, но в газетах бы ни гу-гу.

Так что, вообще-то Егору Кузьмичу очень даже сочувствую. Почему-то за всех застойных предшественников отдуваться приходится ему одному. Правда, взор его остается чист, правдив и ничем таким не замутнен. И сил у него много.

Нет, сказал Егор Кузьмич в ответ на инсинуации Алеса Адамовича, в отставку я не пойду — я еще полон сил работать.

. . . Подбиралась я к последним абзацам своих вольных размышлений

и вдруг с чувством глубокого удовлетворения узнала, что полку наших советских публицистов прибыло. Вышли в свет «Избранные речи и статьи». Однотомник. От одного только издательского вступления сладко ноет сердце: «Произведения члена Политбюро ЦК КПСС, секретаря ЦК КПСС Егора Кузьмича Лигачева...» Издание — потрясает своим великолепным оформлением, а стоит почти ничего — каких-то 80 советских копеек. Как обед в крем-

левской столовой. Особенно радует вот что: это ведь только «Избранное». Значит, есть надежда и на Полное собрание сочинений.

От редакции. Когда этот номер журнала выйдет в свет, в судьбах наших героев может многое измениться, и редакция хотела бы обратить особое внимание читателей на это обстоятельство. Так, в частности, Ю. Н. Афанасьев в апреле 1990 года вышел из КПСС.

ИЗ ПОЧТЫ «ДАУГАВЫ»

ПОСЛЕДНИЙ МИФ

В половодье плюрализма, разлившегося по страницам нашей периодики, попадают прелюбопытные суждения. К числу таковых относится вышедшее из-под пера В. Костинова в «Огоньке» противопоставление революционных вождей в цивильном платье вождям в сапогах и фуражках. Без видимого юмора автор утверждает, будто «столпанные ботинки, потешная кепчонка и потертый пиджачишко» Ленина демонстрировали веру в примат закона над беззаконием, гражданского лица — над гражданской войной, в то время как сапоги и фуражки Сталина и Троцкого выдавали тяготение их владельцев к казарменным методам и массовым расстрелам.

В. Костинов совершенно прав, утверждая, что мифологическое сознание еще не изжито, но и его деление деятелей Октябрьской революции на «голубей» в кепках и «ястребов» в фуражках — тоже миф.

В. Солоухин на страницах «Москвы» (1989, № 7) упоминает массовое уничтожение бывших офицеров русской армии в Петрограде. Зиновьев приказал офицерам зарегистрироваться якобы для получения хлебных карточек, после чего, сообщает Солоухин, «все они по этим регистрационным спискам были немедленно схвачены и расстреляны». Но Солоухин не упомянул еще двух участников акции — одного в сапогах, друго-

го в кепке. Во-первых, ликвидацию офицеров Зиновьев осуществлял в тесном сотрудничестве со Сталиным, находившимся там же, в Петрограде. Солоухин, служивший в молодости в охране Сталина, видимо, и сегодня продолжает его прикрывать. Во-вторых, Солоухин напрасно обошел молчанием инструктивное письмо Ленина Зиновьеву: «Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услышали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что Вы (не Вы лично, а питерские цеткисты и пекисты) удержали. Протестую решительно! Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную. Это не-воз-можно! Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров... Привет! Ленин» (ПСС, т. 50, с. 106).

В том же номере «Москвы» В. Солоухин весьма впечатляюще описывает другую трагедию — казнь в Крыму пленных врангелевских солдат и офицеров. Предыстория расправы такова. Войска белых были прижаты к морю. 11 ноября 1920 года М. В. Фрунзе (человек в сапогах!), стремясь избежать ненужного кровопролития, обратился по радио к

Врангелю с предложением прекратить безнадежное сопротивление. Фрунзе обещал амнистию тем, кто сложит оружие, и дал на размышление три дня. Врангель не ответил и пытался скрыть от своих войск предложение красных. Но воззвание Фрунзе стало известно врангелевским солдатам и офицерам. Часть из них тем не менее предпочла эмигрировать, однако несколько тысяч человек остались и сложили оружие. Ужасная их судьба теперь общеизвестна. Солоухин называет руководителей массовой экзекуции — Р. Землячка и Бела Кун. Однако для полноты исторической истины Солоухину стоило бы процитировать предшествующую событиям телеграмму Ленина Реввоенсовету Южного фронта: «Только что узнал о Вашем предложении Врангелю сдаться. Крайне удивлен непомерной уступчивостью условий... Если же противник не примет этих условий, то, по-моему, нельзя больше повторять их и нужно расправиться беспощадно» (ПСС, т. 52, с. 6).

Человек «в смешной кепчонке» (опять-таки по В. Костикову) проявлял твердость и целеустремленность, свойственные далеко не всякому человеку в фуражке. Когда в пяти волостях Пензенской губернии вспыхнуло восстание, Ленин направил пензенскому губисполкому директиву: «... провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев, сомнительных запересть в концентрационный лагерь вне города» (ПСС, т. 50, с. 143—144).

В последнее время на страницах ряда журналов и газет замелькало слово «расказачивание». При этом, как правило, не упоминаются причины недоверия большевиков к казачеству. А ведь между ними были старые счеты — царизм использовал казаков как самых надежных карателей для подавления массовых антиправительственных выступлений. Большевики имели определенные основания подозревать ранее привилегированный, обласканный царем казачий клан в промонархистских симпатиях и контрреволюционных настроениях. К тому же трудно было предположить, что исконно вольнолюбивое казачество станет безропотно исполнять директивы большевистской диктатуры. Существовало опасение, что

казаки в любой момент возьмутся за оружие и пополнят ряды белых. Вообще боязнь свержения была мотивом многих акций новой, еще не укрепившейся власти.

Казалось бы, мы перечислили элементарные, общеизвестные истины. Тем не менее ряд авторов упорно ищет причины не в социально-исторических обстоятельствах, а в... национальной неприязни к казакам со стороны Троцкого и Свердлова. Обоим приписывается инициатива в осуществлении «расказачивания». В реальности вопрос решался, конечно же, на более высоком уровне, о чем свидетельствуют строки из послания Ленина «Петроградским организациям»: «Следующие меры я обсудил с Троцким: 1) На Дон отправить тысячи 3 питерских рабочих, негодных к войне и невооруженных. Цель — наладить дела, обессилить казаков, внутри разложить их, поселить среди них, создать группы по деревням...» (ПСС, т. 50, с. 295—296).

Сегодня мы мысленно подчеркнем еще два слова — «обессилить» и «разложить».

Ленин самым энергичным образом настаивал на заселении Дона выходцами из других районов страны — мигрантами, как ныне говорят. В телеграмме Ленина Сокольникову читаем: «Изо всех сил наляжем также на переселение на Дон из неземледельческих мест для занятия хуторов» (ПСС, т. 50, стр. 315—316).

Но комиссары и питерские рабочие явно переусердствовали на Дону по части выселений, арестов, расстрелов и конфискаций. Их жертвами нередко становилось трудовое казачество. В итоге в ночь на 12 марта 1919 года в тылу Южного фронта в нескольких станицах вспыхнул мятеж против Советской власти. Ленин телеграфно приказывает Троцкому: «... во что бы то ни стало немедленно ликвидировать восстание на Дону. Советую Вам посвятить себя всецело ликвидации восстания» (ПСС, т. 50, с. 321). И человек в сапогах и кожаной тужурке старательно исполняет приказ человека в пиджаке и цивильных ботинках.

Благодаря публикациям в «Огоньке» и «Москве» мы ближе познакомились с трагической судьбой Филиппа Кузьмича Миронова, командира

особого казачьего корпуса*. Талантливый военачальник, мятущийся правдоискатель, одаренный народный трибун, он стоял, по современной терминологии, за коммунизм «с человеческим лицом». Миронов не мог смириться с бессудным красным террором по отношению к мирному станичному населению. В один из августовских дней 1919 года он без ведома Реввоенсовета снялся с позиций и повел недосформированный корпус в не ясном Москве направлении — на борьбу, как он объяснял, с Деникиным. Странная самовольная акция вызвала, естественно, самые серьезные подозрения в руководящих большевистских инстанциях. Председатель Реввоенсовета республики Троцкий и член Реввоенсовета И. Т. Смилга издают приказы о поимке «изменника и предателя», объявляют его вне закона, требуют доставить живым или мертвым. Евгений Лосев в «Москве» отзываясь об этих приказах крайне неодобрительно. Жаль лишь, что Е. Лосев не ознакомил читателя заодно и с телеграммой Ленина заместителю Троцкого по Реввоенсовету Э. М. Склянскому: «Большое, громадное значение имеет поимка "крестника Сокольникова"» (под этим шифром проходил В. Миронов) (ПСС, т. 51, с. 40).

В апрельском номере «Москвы» за 1989 год В. Хатюшин закатил такой пассаж: Троцкий мечтал осуществить «мировую революцию, встав во главе этой революции и тем самым во главе мирового правительства. То есть он на практике мечтал легализовать масонскую идею — власть над всем миром. Главным препятствием на пути Троцкого был Сталин, который, по всей вероятности, видел и понимал

авантюренность этого масонско-сионистского заговора против человечества». Антисемитские фантазии Хатюшина плачевно не соответствуют реальности.

Идею мировой пролетарской революции выдвинули Маркс и Энгельс, кстати ненавидевшие масонов. В России же самым страстным сторонником мировой революции был тоже не масон и не сионист, а великий русский революционер Владимир Ильич Ленин (Ульянов). Едва прибыв в Петроград в апреле 1917-го, он завершил свою знаменитую речь с броневика призывом: «Да здравствует мировая социалистическая революция!» Кто же предполагал статью во главе грядущей вселенской революции, а кому отводилась роль подчиненных исполнителей? Ответом служит записка Ленина от 1 октября 1918 года: «Свердлову, Троцкому. Все умрем за то, чтобы помочь немецким рабочим в деле движения вперед начавшейся в Германии революции. Вывод: 1) вдесятеро больше усилий на добычу хлеба (запасы все очистить и для нас, и для немецких рабочих). 2) Вдесятеро больше записи в войско. Армия в 3 миллиона должна быть у нас к весне для помощи международной рабочей революции» (ПСС, т. 50, с. 185—186).

Самоочевидно, что автор записки руководил адресатами, а не наоборот.

Человек в пиджаке командовал подчиненными в сапогах и фуражках, контролировал все их акции. Он знал все, что они делают. Да и как могло быть иначе — какой бы из него тогда был руководитель партии и правительства великой страны!

Ленин был суровым и непреклонным вождем революции, ничуть не похожим на тот полукарикатурный образ говорливого добрячка, который нам преподносили долгие годы актеры и литераторы.

Москва

Марк ВИЛЕНСКИЙ

* Ф. Миронов послужил прототипом Мигулина, одного из главных персонажей романа Ю. Трифонова «Старик». В ту пору (1978 г.) даже в примечании нельзя было раскрывать имя прототипа.

Вадим РУДНЕВ

ПРАГМАТИКА АНЕКДОТА

Изучение прагматики анекдота чрезвычайно затруднено тем, что, хотя, с одной стороны, материал как бы «лежит под ногами», но, с другой стороны, смоделировать саму ситуацию рассказывания анекдота, достаточно сложный тип языковой игры, представляется чрезвычайно трудным. В идеале следовало бы, как и при изучении любых типов устной речевой деятельности, во время застолья или беседы включать видеоманитофон — для того чтобы ситуация была дана во всей прагматической целостности. Поскольку нам такие записи неизвестны, то в качестве предварительной процедуры (сознавая всю ее условность) мы поступим так, как это всегда делали лингвисты, — прибегнем к помощи художественного произведения. Мы рассмотрим финал первой сцены «Войны и мира», где князь Ипполит Курагин рассказывает анекдот. При этом будем исходить из достаточно упрощенной, но тем не менее эвристически плодотворной предпосылки, что упомянутая сцена и представляет собой нечто вроде магнитофонной записи беседы, некий возможный мир (тем более, что к этому подталкивает само заглавие толстовского романа):

«Вдруг князь Ипполит поднялся и, знаками рук останавливая всех и прося сесть, заговорил:

— Ah! aujourd'hui on m'a raconté une anecdote moscovite, charmante: il faut que je vous en régale. Vous m'excusez, vicomte, il faut que je raconte en russe. Autrement on ne sentira pas le sel de l'histoire*.

* Ах, сегодня мне рассказали престелный московский анекдот; надо вам им попотчевать. Извините, виконт, я буду рассказывать по-русски; иначе пропадет вся соль анекдота.

И князь Ипполит начал говорить по-русски таким выговором, каким говорят французы, пробывшие год в России. Все приостановилось: так оживленно, настоятельно требовал князь Ипполит внимания к своей истории.

— В Moscow есть одна барыня, une dame. И она очень скупо. Ей нужно было иметь два valets de pied** за карета. И очень большой ростом. Это было ее вкусу. И она имела une femme de chambre***, еще большой росту. Она сказала...

Тут князь Ипполит задумался, видимо, с трудом соображая.

— Она сказала... да, она сказала: «Девушка (à la femme de chambre), надень livrée и поедем мной за карета, faire des visites****».

Тут князь Ипполит фыркнул и захохотал гораздо прежде своих слушателей, что произвело невыгодное для рассказчика впечатление. Однако многие, и в том числе пожилая дама и Анна Павловна, улыбнулись.

— Она поехала. Незапно сделалась сильный ветер. Девушка потеряла шляпа, и длинные волоса расчесались...

Тут он не мог уже более держаться и стал отрывисто смеяться и сквозь этот смех проговорил:

— И весь свет узнал...

Тем анекдот и кончился. Хотя и непонятно было, для чего он его рассказал и для чего его надо было рассказать непременно по-русски, однако Анна Павловна и другие оценили светскую любезность князя Ипполита, так приятно закончившего неприятную и нелюбезную выходку мсье Пьера. Разговор после анекдота рас-

** лакея.

*** девушка.

**** ливрею... делать визит.

сыпался на мелкие, незначительные толки о будущем и прошедшем бале, спектакле, о том, когда и где кто увидится».

На этом примере мы можем продемонстрировать ряд прагмо-семантических особенностей жанра анекдота в его вполне современном понимании.

Первое — это то, что анекдот рас­сказывается неожиданно, по определенной и неведомой слушателям ассоциации, пришедшей в голову рассказывающему. В современной рече­вой деятельности чаще всего анекдоту предшествует реплика нечто вроде: «А, кстати, на этот счет есть прекрасный анекдот». Причем, как правило, со стороны кажется, что это совсем некстати. И лишь потом, да и то не всегда, выясняется глубинная связь прагматического задания с содержанием анекдота. Союз «а» является специфически русским словом (в английском языке, например, это значение покрывается союзом «but»). В союзе «а» господствует семантика расчлененности и алогизма, некоей несвязной связности. Можно сказать, что «а» — это мистическое слово, которое связывает два высказывания, логически никак не связанные. Кстати, впервые это заметил и эффектно использовал именно Лев Толстой в знаменитом внутреннем монологе «А горы . . .» в «Казаках». Ср. начало «Поэмы без героя» Ахматовой, нарочито бессвязное:

А так как мне бумаги не хватило,
Я на твоём пишу черновике.

Что же на глубине скрывает это поверхностное «а»? Здесь мы упираемся во второй вопрос: зачем вообще рассказывают анекдоты, или при каких обстоятельствах их рассказывают? (Нужно сразу оговорить, что мы не будем принимать в расчет ситуацию, когда анекдоты рассказываются один за другим, лавиной, «травятся», здесь подключается уже совсем иная логика; нечто аналогичное венку сонетов, если ваш слух не оскорбит такое сравнение.) Здесь «Война и мир» проливает на поставленный вопрос определенный свет.

Князь Ипполит выскакивает со своим анекдотом в момент, когда разговор в салоне переживает прагматический кризис. Пьер вступил в неуместный и бестактный спор

с виконтом, чем всех шокировал и испортил всем настроение, князь Андрей Болконский вступился за Пьера, но не вполне удачно, не в духе светской легкой беседы, слишком серьезно. (Вспомним, что разговор шел о Наполеоне, и то, что для других было очередной светской темой, для протагонистов толстовского романа — важнейшей на данном этапе их жизни проблемой самоопределения, самодескрипции.) Все мы знаем, что в любой беседе может наступить момент неловкости, когда никакие логические аргументы не исправят ситуацию, вечер грозит быть сорванным. Именно в этот момент на помощь приходят шутка, остроумие и анекдот. Здесь его функция чисто мифологическая, медиативная (в смысле А. М. Пятигорского¹): анекдот разряжает ситуацию, снимает противоречия между спорящими сторонами. И действительно, у Толстого, несмотря на то, что сам по себе анекдот князя Ипполита крайне неудачен, а может быть, и благодаря этому (ведь князь Ипполит играет роль светского шута, алогизм и медиативные функции которого общеизвестны; в традиционной русской культуре отчасти такую функцию выполняли юродивые), он тем не менее служит волнорезом, разрезающим волну, угрожающую благополучному течению жизни.

Здесь мы вспомним фрейдовскую теорию остроумия, непосредственно, как нам кажется, относящуюся к нашему разговору. В книге «Остроумие и его отношение к бессознательному»² Фрейд приводит пример остроумия, представляющей собой не что иное, как анекдот, сюжет которого заключается в том, что двое коллекционеров картин заказали знаменитому художнику свои портреты и затем повесили их рядом на стену. Они пригласили знаменитого знатока живописи и, ожидая слов похвалы, показали ему картины. Искусствовед долго смотрел на пространство между картинами и наконец спросил: «А где же Спаситель?» Тем самым, пишет Фрейд, он косвенно дал понять, что относится к двум собирателям картин, как к двум разбойникам, висевшим на крестах по обе стороны от Иисуса. Но сделал он это именно косвенно, снимая оппозицию между требуемой от гостей похвалой

и готовым прорваться негативным отношением к ним.

В связи с этим встает еще одна проблема прагматики анекдота: фигура самого рассказчика, осуществляющего функцию прагматической медиации. Я думаю, достаточно ясно, что такую функцию в культуре должен выполнять особый субъект, выпадающий из коллектива и, в то же время, необходимый коллективу именно в качестве медиатора. Речь, конечно, идет о мифологическом и фольклорном трикстере*, Иванушке-дурачке, который, согласно К. Леви-Стросу, выполняет функцию медиации между жизнью и смертью³.

Таким светским шутком, которому все позволено, и выступает князь Ипполит в «Войне и мире». Конечно, Толстой в своем антикультурном пафосе относится к этому персонажу отрицательно. Речь князя Ипполита строится как гротескная карикатура на предельно автоматизированную правильную речь его отца князя Василия³. Для Толстого вообще чрезвычайно важно, как кто говорит и что говорит. И неуместность для него как факт остранения, деавтоматизации, ломки привычных речевых жанров, в данном случае неуместность речи Пьера в рамках жанра светского раута, — все это в системе ценностей Толстого окрашено позитивно. В этом смысле Толстой скорее антимифологичен; его любимый речевой жанр не анекдот, а притча. Поэтому говоруньи-трикстеры Ипполит, Билибин, Шеншин — пересмешники, говорящие на русско-французском языке (что, как мы увидим в дальнейшем, очень важно), — им в целом осуждаются. Его герои — серьезные и одноязычные Баздеев и Каратаев. Тем не менее медиативную функцию Ипполита — функцию снятия противоречия при помощи смеха — Толстой показывает с обычной для него точностью. Добавим, что в литературе нового времени этот персонаж, трикстер, рассказывающий анекдоты, глумящийся над собой и другими, — чрезвычайно популярен: это Сэм Уэллер Диккенса, Кола Брюньон Ромена Роллана, Швейк Гашека, шут у Шекспира,

юродивый у Мусоргского. Сюда же отнесем более сходных с Ипполитом (по эмоциональному отношению к ним автора) Хлестакова вместе с его прототипами — Д. Завалишным и Р. Мэддоксом⁵. Где-то здесь будет находиться и Петруша Верховенский из «Бесов»⁶.

В связи с этим встает еще одна проблема, которая подключает уже внутреннюю прагматику анекдота⁷. По своей функции медиации анекдот находится на границе между бытовой речевой деятельностью и художественным дискурсом, текстом. В плане прагматики между этими двумя полюсами различие в том, что если бытовая речевая деятельность производит высказывания либо истинные, либо ложные (хотя это, конечно, не всегда так)⁸, то художественное высказывание нейтрально по отношению к истине и лжи. В этом смысле анекдот находится на границе между двумя типами речевой деятельности. Он еще сильно вовлечен в контекст бытовой речевой деятельности, от которой отграничен лишь мистическим «а, кстати», но в то же время переходит от высказывания истинностных значений к рефлексии над языком. В этом плане совершенно неважно, имело ли место в действительности рассказываемое в анекдоте событие, хотя первоначально анекдот и мыслился как забавная история из реальной жизни. Здесь анекдот выступает как настоящий эмбрион художественного повествования, примыкая к новелле по своим прагмо-семантическим установкам.

Анекдот является случаем из жизни, необычным, нарушающим ее однообразное течение, в этом смысле анекдот обладает ярко выраженным сюжетом и в качестве основы сюжета в нем имеет место языковая игра *qui pro quo* (одно вместо другого)⁹. Анекдот князя Ипполита является типичным сюжетом ошибки и разоблачения: дама заставляет переодеться горничную лакеем, но волосы растрепываются и тайное становится явным. Вот такая наивная, примитивная коллизия, доведенная почти до абсурда. (Кстати, аналогичным образом с сюжетом поступала стихотворная новелла 30—40-х годов XIX века типа пушкинского «Домика в Коломне» или тургеневской «Парашии». Отталкиваясь от традицион-

* Мифологический шутник, обманщик, — посредник между богами и смертными. — Ред.

го романтического сюжета, она заостряла его чисто невеличестически, доводя до нелепости.)

Аналогичную роль играет в анекдоте двуязычие. Ибо анекдот — один из тех речевых жанров, в которых между сюжетом и стилем, между «что» и «как» почти нет водораздела. Билингвальность в анекдоте может быть элементом стиля (так обстоит дело в разобранном случае), но может переходить и в область сюжета; тогда в основу анекдота кладется каламбур или — шире — любая омонимия. В анекдоте всегда происходит приближение человеческого сознания к языку вплотную, язык рассматривается в анекдоте внимательнейшим образом, как через увеличительное стекло. В терминах «вероятностной модели языка» В. В. Налимова можно сказать, что анекдот с остротой в центре актуализирует наименее вероятные семантические ресурсы языка:

«Человек устроен так, что он не любит серого речевого поведения, оно его утомляет. Шутка, нарушающая однообразие речи, заключается в неожиданном переводе маловероятных ассоциаций в доминирующие. Шутки основаны на использовании хвостовой части априорной функции распределения. Чтобы понимать шутки, надо иметь далеко растянутую хвостовую часть. Чтобы уметь шутить, надо уметь ею пользоваться <...>»

Многие шутки основаны на том, что фраза подобрана так, что одному и тому же слову с одинаковой вероят-

ностью приписаны два совсем разных смысла <...>»

Два совершенно различных смысла слова получают одинаковую вероятность — это может выглядеть совсем нелепо. На этом основаны все пикантные анекдоты. Мы, к нашему большому огорчению, не можем здесь привести такого примера, который был бы достаточно острым и вполне приемлемым для читателя»¹⁰.

Прагматика анекдота проявляет себя в качестве лингво-терапевтического средства на различных уровнях культуры. Хороший тот лектор, который умеет вернуть анекдот так, чтобы расшевелить аудиторию. Характерно, что герой анекдота должен быть в определенном смысле культурно ориентирован на медиацию в той же степени, как и его рассказчик. В этом плане естественно, если говорить о политической истории СССР, что больше всего анекдотов породило не сталинское время, а хрущевское и брежневское. Фигуры этих двух вождей, их социально-политический трагикомизм сделали их подходящими для анекдота культурными трикстерами в пору оттепели и застоя. Анекдоты про перестройку начались и погасли в 1987 году. Редко где услышишь настоящий сольный анекдот про Горбачева. По-видимому, гласность пока не на руку городскому фольклору. Культурный канал расширился, все читают журналы и ходят на демонстрации. Вероятно, всему свое время. (Март 1989)

ЛИТЕРАТУРА

1. Пятигорский А. М. Некоторые общие замечания о мифологии с точки зрения психолога. — Учен. зап. Тартуского ун-та, вып. 181. Труды по знаковым системам, т. 2, 1965, с. 38—48.
2. Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. — М.: Современные проблемы, 1923.
3. Леви-Строс К. Структурная антропология. — М.: Наука, 1983.
4. Руднев В. Поэтика деформированного слова («Война и мир» и «Анна Каренина»). — Даугава, Рига, 1988, № 10, с. 107—111.
5. Лотман Ю. М. О Хлестакове. — Учен. зап. Тартуского ун-та, вып. 369. Труды по русской и славянской филологии, т. 26, 1975, с. 19—53.
6. Руднев В. П. «Злые дети». Мотив инфантильного поведения в романе «Бесы» (в печати).
7. Руднев В. П. К основам прагмо-поэтики: О внутренней и внешней прагматике художественного высказывания. — Новейшие направления в лингвистике. М., 1989, с. 165—168.
8. Руднев В. Прагматика художественного высказывания. — Родник, Рига, 1988, № 11, с. 45—47; № 12, с. 43—45.
9. Руднев В. Логика сюжета. — Наука и мы, Рига, 1990, № 6.
10. Налимов В. В. Вероятностная модель языка: О соотношении естественных и искусственных языков. — М.: Наука, 1979.

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ

У А. К. ТОЛСТОГО И Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

(«СОН ПОПОВА»: ДОПОЛНЕНИЕ К КОММЕНТАРИЮ)

Все выдумки, нет правды ни на грош!
А. К. Толстой

Летом 1873 г. А. К. Толстой написал одну из наиболее знаменитых своих сатир — «Сон Попова». Герою пришло в голову, что в день именин министра он приехал на поздравление без панталон. Вид Попова поразил сановника, и тот приказал отправить несчастного в Третье отделение, предъявив ему такое обвинение:

Советник Тит Евсеев сын Попов
Все ниспровергнуть власти был готов¹.

В доме у Цепного моста «лазоре-вый полковник» предложил Попову выдать его сообщников. Устрашась строгости допроса, напуганный чиновник решил раскрыть несуществующий заговор и «на нескольких листах» указал «имен невинных многие десятки», сам ужаснулся своей подлости и проснулся.

В последних октавах «Сна Попова» приводится мнение вымышленного читателя, отрицающего политическую злободневность сатиры. Он сомневается в возможности подобной ситуации:

Слышал ли кто такое обвиненье,
Что, мол, такой-то—встречен
без штанов,
Так уж и власти свергнуть он готов?

<...> Во всем заметно полное незнание
Своей страны обычаев и лиц,
Встречаемое только у девиц.

(с. 368)

Висмеивая такое отношение к гротесковой сатире, Толстой тем более потешался над требующим правдоподобия недоверчивым читателем, что сюжет «Сна Попова» был основан на факте реальном или оценивавшемся как реальный.

Памфлетность стихотворения, его соотнесенность с русским политическим бытом почувствовали уже первые читатели, искавшие прототипы героев «Сна Попова» среди современных им министров (предположительно назывались П. А. Валуев, А. В. Головин и другие)². Однако настоящее сопоставлялось здесь с недавним прошлым: в новых формах государственной деятельности времени Александра II писатель обнаруживал черты правления, более свойственные трем десятилетиям предшествующего царствования. По видимому, ситуация, почти буквально совпадающая с описанной, имела место в последние годы власти Николая I. Рассказ об этом событии обнаруживается в дневнике Н. А. Добролюбова 1855/56 гг., носящем подзаголовок «Закулисные тайны русской литературы и жизни». Таким образом, можно допустить, что не только персонажи, но и фабула «Сна Попова» опираются на определенную бытовую основу.

В записи, помеченной 22 января [1856 г.], Добролюбов пересказывает такой анекдот из жизни Николая I: «В один из последних годов жизни Ник<олая> Павл<овича> случилось с ним следующее происшествие. Ехал он раз летом по Невскому. Вдруг встречается старичок, в белой шляпе, в белом пальто, в белых панталонах, в белом жилете. При виде императора он снимает шляпу и останавливается... Но царю показался подозрительным его костюм, блиставший цветом невинности, и он приказал взять его...»³.

В своей экспозиции обе истории — действительно случившаяся и вымышленная — пересекаются только отчасти: некоему облеченному властью лицу кажется подозрительной и даже крамольной деталь одежды благонамеренного человека. Следует отметить, что в «Сне Попова» героя сатиры облачает не государь, а министр, причем вменяет ему в вину значительно более серьезное «преступление»: он явился без панталон на торжественный прием, тогда как Николая I глубоко возмутил всего-навсего цвет одежды прогуливавшегося по Невскому проспекту старика — случайного прохожего, «волнующего умы» белизной своего костюма.

В следующей части запись Добролюбова обнаруживает почти полное сходство с историей Попова: «И вот, несчастного схватили, привели, ни живого, ни мертвого, в часть, и потом, так как Галахову <Александр> Павловичу, петербургскому обер-полицеймейстеру. — М. Ш.> с ним делать было нечего (тут не было ни буйства, ни пьянства, ничего подобного), то его и отправили к Дуббельту» (с. 417). У Толстого Попов тоже не сразу попадает в Третье отделение. Сначала министр хочет писать с прокурору и только потом, чтобы «порок» был наказан по всей строгости, он велит доставить «провинившегося» в органы политического сыска.

Кульминация рассказа Добролюбова и сатиры Толстого совпадает дословно: «Тот <Л. В. Дубельт. — М. Ш.> встретил его вопросом, к какому тайному обществу он принадлежит? Добряк разинул рот и решительно не знал, что ему отвечать: это еще больше утвердило Леонтия Вас<ильевича> в подозрении. Приступили к старика с ножом к горлу,

бились несколько часов, заставили разговориться <...>» (с. 417). Ср. допрос Попова у Толстого:

Что слышу я? Ни слова? Иль пустить
Уже успело корни в вас упорство?
Тогда должны мы будем приступить
Ко строгости, увьи! и непокорство,
Сколь нам ни больно, в вас искоренить!
О юноша! как сердце ваше черство!
В последний раз: хотите ли всю рать
Завлекших вас сообщников назвать?

(с. 365—366)

В этом месте стихотворный текст лишь «разворачивает», детализирует то, что конспективно, в «свернутом» виде заключено в добролюбовском дневнике.

Окончание курьезного анекдота, как оно изложено у Добролюбова, является не менее неправдоподобным и в такой же степени пригодным для политической сатиры, как и завершение истории Попова у Толстого: старика «заставили разговориться и, наконец, узнали — что же? Что этот старик немец, экс-портной, ходит в парусинном пальто и брюках постоянно летом, для защиты от жара, и для дешевизны. „У меня две такой платье, — говорил он, — когда один загрязнится, тогда жена мне другой вымоет, и у меня каждые неделя есть чистой платье“. Наивность немца убедила, наконец, в его невинности; но, как взятый по высочайшему повелению, он не мог быть так отпущен, и его отпустили, взяв с него подписку, что больше не будет ходить в таком платье» (с. 417).

Из сопоставления анекдота, случившегося с Николаем Павловичем, и «Сна Попова» несомненно следует, что сюжет толстовской сатиры опирается на реальный факт политического и околотературного быта (таково его место в дневнике Добролюбова). Этот факт казался столь неправдоподобным, что степень неправдоподобия была Толстым преуменьшена: как за счет изменения сюжетных реалий (в сатире действует министр вместо императора, допрашивает Попова не Дубельт, а некий «лазоревый полковник», и т. д. — см. выше), так и за счет традиционно-литературной мотивировки фантастического сюжета сном героя⁴. Можно сказать, что перед нами своего рода сатирическая литота.

Любопытно, что николаевские ог-

раничения свободы в выборе партикулярного платья давали материал не только для литоты, но и для г е р б о л ы. В том же 1873 г., когда А. К. Толстой сочинил «Сон Попова», М. Е. Салтыков-Щедрин написал и опубликовал рассказ «Помпадур борьбы, или Проказы будущего» (из цикла «Помпадуры и помпадурши»)⁵. Сатира Толстого и сатира Щедрина созвучны не только по общей политической установке («Помпадур борьбы» описывает последовательное «правление» либерала) — в обоих произведениях звучат сходные мотивы. Так, рассказывая о либеральном прошлом Феденьки Кротикова, Щедрин приводит его докладную записку, в которой, в частности, значится: «<...> в видах поднятия народного духа, я полагаю бы необходимым все-народно объявить <...> что выбор покроя одежды предоставляется личному усмотрению каждого, с таковы-ым, однако ж, изъятием, что появление на улицах и в публичных местах в обнаженном виде по-прежнему = остается недозволительным <...>»⁶. Не будет лишним добавить, что «Помпадур борьбы» увидел свет 19 сентября, а первое упоминание «Сна Попова» встречаем в письме Б. М. Маркевича к А. К. Толстому от 25 сентября того же года⁷.

Было бы неверно думать, что сатира Толстого пересказывает известный случай из жизни Николая I, сохраняя верность мельчайшим деталям. Сюжет «Сна Попова» действительно является поэтической интерпретацией прозаического анекдота, но образ «человека без панталон» имеет свою особую историю. Он возникает в поэзии и переписке Толстого неоднократно. Так, в стихотворении «Как-то Карп Семенович...» (1869) его появление связано с разгоревшейся в конце 60-х годов полемикой о достоинствах классического образования:

Братья, без медления
Снимем панталоны!
с. 395

Здесь звучит иронический призыв вернуться к хламиде и тоге [ср. в «Сне Попова»: «Иль классицизмом вы заражены <...?»] (с. 362)].

Другое значение этого образа определяется внутренней формой французского «sans-culotte» (букв. «бесштанник»):

<...> Присяжные-бесштанники спасут
И оправдают корень возмущенья <...>
(с. 363)

«Не мудрствуйте, надменный
санкюлот! <...>»
(с. 366)

Употребление слова санкюлот не в обобщенном смысле («вольнодумец», «смутьян»), а в «прямом» — каламбурная поэтическая этимология — опирается на конкретные образцы. В отдельных списках «Дома сумасшедших» читаем:

Вот в порожней бочке винной
Целовальник Полевой
Беспорточный и бесчинный.

К слову беспорточный в рукописи сделано примечание: «sans culotte», к слову бесчинный — «поелику не имеет чина»⁸. Ср. в фамильярно-бытовом послании Толстого к Н. М. Жемчужникову:

Сам храбрый Бирюлев
И звонкий Опочинин
Явились без штанов,
И вечер был бесчинен...
(с. 405, ср. с. 369, 374)

Образ «полуголого» устойчив и многозначен; в разных контекстах он приобретает различные смысловые оттенки. Все они сохранены и символически обобщены в «Сне Попова». Следовательно, замена детали у Толстого не случайна и не противоречит предположению о том, что фавбулы сопоставляемых нами текстов Толстого и Добролюбова восходят к общему источнику — устному анекдоту из жизни Николая I.

«Странствующий сюжет» о визитере без штанов то и дело возникает на грани литературы и литературного быта⁹ (иногда в прямой зависимости от «Сна Попова»¹⁰), но это не отменяет психологической реальности стихотворения. Важно не то, имел или не имел место подобный случай на самом деле, а то, что он понимался как реальный — или возможный — многими современниками сатирика. Соотнесенность вымышленного повествования и случая «из жизни» была серьезным фактором, осложнявшим восприятие ходившего в рукописях литературного текста. Память об анекдоте, очевидно, была жива у целого ряда читателей. Сам граф А. К. Толстой, пожалованный в камер-юнкеры еще в царствование Николая I, не мог не знать об этой истории: вероятно, ее рассказывали при дворе. Что касается Н. А. Добро-

любова, то он услышал о ней, скорее всего, в доме брата обер-полицеймейстера Петербурга Сергея П. Галахова, сыну которого давал уроки.

Установление «действительного» характера событий, составивших генетическую основу сюжета «Сна По-

пова», позволяет по-другому прочесть как бы предугаданное поэтом замечание благонамеренного читателя. На бросаемый им упрек в гиперболоизации: «Слышал ли кто такое обвиненье <...>?» — Толстой утвердительно отвечает своей сатирой.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Толстой А. К. Полное собрание стихотворений: В 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 363. В дальнейшем это издание цитируется с указанием страницы в тексте статьи.

² См. об этом предисловие и комментарий И. Г. Ямпольского в кн.: Толстой А. К. Полное собрание стихотворений. Л., 1937. С. 32—33, 765—767.

³ Добролюбов Н. А. Полное собрание сочинений: В 6 т. М., 1939. Т. 6. С. 417. В дальнейшем это издание цитируется с указанием страницы в тексте статьи.

⁴ В свою очередь, литературный сон может быть мотивирован сном реальным (распространенный сюжет сновидений: человек видит себя голым). Ср. описание собственного сна у В. С. Соловьева (по-видимому, конец 1870-х годов): «Я оборачиваюсь и вижу, что <...> на террасу всходит большая толпа, среди которых я узнаю многих приятелей моего отца: Кетчера, Чичерина, Станкевича и других, а впереди всех вижу моего зятя Попова. Все они громко хохочут, указывая на меня пальцами. Я опускаю глаза и к ужасу моему замечаю (весьма обыкновенный эффект в сновидениях), что вместо сапог на мне надеты рваные лапти, а между лаптями и шуртуком совсем ничего нет» (цит. по: Соловьев С. М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977. С. 181). Фамилия зятя («а впереди всех вижу моего зятя Попова») заставляет предположить

обратное влияние литературы на реальность (ср. также роль перечисления фамилий в «Сне Попова» и в описании сна у В. Соловьева).

⁵ Отеч. зап. 1873. № 9. Отд. I. С. 57—92.

⁶ Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: В 20 т. М., 1969. Т. 8. С. 166, ср. с. 514—515.

⁷ Письма Б. М. Маркевича к графу А. К. Толстому, П. К. Щербальскому и друг. СПб., 1888. С. 129.

⁸ Воейков А. Ф. Дом сумасшедших: Другие редакции и варианты // Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971. С. 801.

⁹ См., например, шуточную «драму» Александра П. Чехова «Пропавшее условие, или Хвост от семги» (Письма А. П. Чехова его брата Александра Чехова. М., 1939. С. 331—333).

¹⁰ См.: Белый А. Петербург. Л., 1981. С. 51, 651 прим. 65; ср. также: Булгаков М. А. Пьесы 1920-х годов. Л., 1989. С. 460 («Бег»). Возможно, что своеобразный фон этого сюжета — знаменитый каламбур маркиза Бьевра: «Что это за человек? — О, это большой талант; из своего голоса он делает все, что захочет. — Ему бы следовало, сударыня, сделать из него себе штаны (*une culotte*)». Литературная история этого анекдота в России тянется от Пушкина (эпиграф к «Египетским ночам») к Маяковскому («Кофта фата», 1913) (см.: Харджиев Н. И. Заметки о Маяковском // Лит. наследство. М., 1958. Т. 65. С. 401).

1982, 1985, 1990

Андрей ЛЕВКИН

СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК НА RENDEZ-VOUS

Когда рецензент решил заняться кооперативным сборником, образованным статьями, публиковавшимися в том году газетой «Советская молодежь», то предполагал порассуждать на темы более-менее общие: о развитии свободы почти любого слова; о том, что механизм «спрос-предложение» закрутился; что-нибудь по поводу «что читают во времена смут». Перечитывание, однако, сбило всю концепцию. Рассуждать на общие темы не время, поскольку сборник (либо сама серия публикаций в «СМ») вполне занял бы верхние позиции в хит-параде самых душераздирающих прошлогодних публикаций.

Не из-за всех, понятно, этих инопланетных дел, не из-за постоянно им сопутствующих речей о полном и окончательном конце света с оргводами и уж вовсе не по причине «полного переворота во взгляде на человека» — как то утверждает чуть ли не каждый из коллективных авторов сборника. Это бы всё ладно. Но в сборнике, в текстах, его составляющих, чрезвычайно чисто, со степенью чистоты, решительно невозможной в земных условиях документального или художественного исследования, воссоздан — да и не воссоздан даже, а без малейших помех отразился — образ мысли советского человека.

Чистота обеспечивается уже и самой природой документов — их составили не практики: не сочинители, а журналисты, практика сочинительства которых вполне специфична и от увиденного-услышанного особо да-

леко уйти не в состоянии. Кроме того, все авторы находились во вполне лабораторных условиях полного отсутствия привычного окружения и на удалении от привычных и обговоренных за чашкой кофе тем.

И, разумеется, дело в самом предмете речи: в сношениях с инопланетянами. То, что общераспространенной точки зрения на сей предмет нет, позволяет проявиться авторским сознаниям в наготе своей, и важна именно сама эта неискаженность, а вовсе не то, существуют ли все эти описываемые феномены: для участников сборника они существуют, и этого вполне достаточно. Впрочем, неважно даже, если бы и не существовали, а вся эта история была просто рекламным надувательством «СМ»: тема задана, и важны лишь сами высказывания на ее счет.

Итак, запись историй участников трех экспедиций в Пермскую область, где регулярно имеет место (в силу вышеупомянутого, какой-либо анализ достоверности излагаемого производиться не будет; да рецензенту это и неинтересно) контакт с инопланетянами. В статьях описываются способы установления контакта, попытки объяснить происходящее, доказательства реальности происшедшего, личные чувства, мысли и пр.

В рецензии — последнее предудомление — будет проведен лишь самый поверхностный анализ свойств сознания СЧ (советского человека), проявляющихся во взаимоотношениях с сознанием ВЦ (внешнеземных цивилизаций), речь при этом пойдет лишь об анализе сознания группового, ответствующего всему комплексу

[«М-ский треугольник, или Чужие здесь не ходят...» — НКВЦ «Сарбан», 1989]

текстов — хотя цитаты из конкретных статей будут, разумеется, приведены. Что до самой допустимости подобного цитирования и самого анализа, то рецензент использует высказанное авторами предложение заняться изучением результатов экспедиции. Понятно, что одним из таковых результатов является и сам сборник, рецензент же выступает в качестве человека, осуществляющего анализ текста и породившего текст сознания, проявившего себя, например, в языке, используемой терминологии, обрзанности, в интонациях и т. п.

Отметим, что в экспедициях участвовали люди возрастом от двадцати пяти до пятидесяти лет, по преимуществу с высшим образованием, вполне адекватные, иначе говоря — вовсе не аутсайдеры общества, не маргиналы-мономаны, напротив — люди весьма общительные и — что проходит сквозь все повествования — вполне стремящиеся к известной объективности описания происшедшего. Притом эти люди активны, инициативны и любознательны. Успех сборника (о чем свидетельствует и сам факт отдельного издания статей) говорит не только о выигрышности самой темы, но и о том, что материал изложен правильно.

О читательской заинтересованности в теме говорить излишне. О способе изложения — уже можно. Потому что тот, собственно, и не выбирался: большая часть материалов — как то заявляется в статьях неоднократно — просто распечатка диктофонного наговора. Подобные оговорки делались авторами явно, поэтому, конечно, никаких упреков по части словесного оформления не предъявляется, что, однако, не означает, что использованный язык останется вне анализа.

Вот в каком смысле: авторы говорят на нормальном, обиходном, почти нормативном советском языке, на той его версии, которая служит языком неформального общения, происходя из языка междусобойного общения людей студенческо-комсомольского возраста; язык этот предназначен не для передачи сообщений, не для формулировки мыслей, а для осуществления самого факта высказывания с той или иной эмоциональной окраской.

Поэтому можно не обращать решительно

никакого внимания на все сведения об устройстве жизни, строения Вселенной и т. п., полученные авторами от ВЦ. Такой язык на все это не рассчитан, он служит не для описания каких-либо соотношений и структур, но лишь для частного высказывания о том, что нечто с говорящим произошло. Например: «После Зоны я стал другим человеком. Это — железно». То есть даже какие-то реальные, видимо, перемены в человеке не сказываются по крайней мере на его лексической искусственности — и после всех этих в нем перемены он продолжает выражаться, как пятиклассник на переменке. ВЦ, по правде, тут вообще ни при чем: во всей этой новой для авторов информации не окажется ничего содержательного для читателя, потому что вот такой парадокс: на этом чудном в своей неискусственности языке излагается — по утверждению авторов — конспект почти полного строения Вселенной. Вселенная, иначе говоря, этого языка не сложнее. Но где тогда живут те, кто говорит хорошо на русском? Или это отдельная советская Вселенная?

Рецензенту, по другим занятиям, уже приходилось немного разбираться с советской ментальностью, и у него возникла вполне компактная схема. Довольно простая. В общих чертах, совмещенность задают три элемента. Первый, разумеется, — язык. Именно вот такой, ориентирующий не на высказывание, но на необходимость обеспечить факт высказывания, его можно назвать «обобщенным суржи́ком»: он представляет из себя мешанину обломков разностилевой речи, междометий, стандартных, почти цитатных сцепок из трех-пяти слов, слов-паразитов, рассчитан на дополнение интонацией и жестом; любое высказывание, в сущности, имеет смысл лишь в конкретном контексте, чуть ли не любое предложение без ущерба может быть заменено междометием. В отличие от «новояза» «суржик» не сочинен искусственно — его не надо внедрять, в этой системе он развивается самостоятельно и бурно.

Вышеприведенный пример весьма характерен: «железно» — замена описанию изменений, а само описание невозможно, потому что ну как его, в общем, как говорится, где ся-

дешь, там и слезешь. И что за изменения такие в результате?

Поскольку «суржик» познать ситуацию не позволяет, то, очевидно, для осуществления жизнедеятельности требуется некое дополнительное средство. В качестве такового выступает «ведомость обобщенная» — любые таблицы, списки, опросники, анкеты, справочники, критические «обоймы», три источника и три составные части, уставы, инструкции, графики выноса мусорного ведра, записка жены мужу — что тому купить сегодня. Процесс самоопределения состоит в высказывании на «суржике» касательно соответствующей графы ведомости. Вот в сборнике: заранее составленные вопросы, специальная система сверки результатов. А когда такие вопросы отсутствуют, — когда ведомость исчерпана, либо проигнорирована противной стороной, — то СЧ оказывается в пассивном состоянии и следует навязываемому ему разговору: возникновение ветвящегося диалога не описано ни одним из авторов.

Здесь мы подошли к третьему элементу советскости, а именно — к «звездным войнам». Ведь если есть ведомости, то существует некто/нечто, эти ведомости сочиняющий/ее и кому они возвращаются с отметкой об исполнении. Таким образом, место для высказывания (а это место — единственное, где суржикоговорящий способен осуществиться) всегда устраивается кем-то у него над головой. Все с человеком сделают у него над головой, будь то на уровне кремлевских звезд, либо — как в данном случае — самых настоящих.

Рассуждать поэтому советский человек может только на двух уровнях. Либо в пределах конкретной ведомости, либо — мечта — на уровне, все ведомости объединяющем. На уровне, где ваще все (сурж.). Сакралка. Вот и в сборнике либо идет выяснение конкретики (постоянная дарвиновская обезьяна, Янтарная комната, Курская битва), либо утверждается, что не так сразу все, чему нас учили. Без, отметим, какой-либо детализации того, что именно и как именно не так. Важно и то, что мир воспринимается авторами как склад терминов: всегда только отдельные слова, отдельные факты —

и нигде о том, что стоит за термином. Последние, впрочем, употребляются без уточняющих эпитетов. Религия — и всё, без уточнений (языческая, например, христианство, нетрадиционная, жителей о-ва Гаити). Термины не то что не уточняются, не выясняются даже. Например: они — ВЦ, то есть — скручивают время и оказываются у себя. Контактеры сие удовлетворяет вполне, и никто не предпринимает даже попытки понять, что в данном случае понимается под временем.

Здесь можно было бы предположить некомпетентность авторов в соответствующей области, в той же религии например; впрочем, до какой степени некомпетентность? — все же с высшим образованием люди, любознательные. Видимо, все дело в ситуационном восприятии: для СЧ мир существует не в свойственной тому продолжительности, но разделенный на дольки, клеточки конкретных ситуаций (точно так же, как высказывание на «суржике» имеет смысл лишь плотно окруженное контекстом). А вне ситуаций — ссыхается в дайджест, в энциклопедию, в словарь. А находясь в текущем контексте (контакта, например), человек замазывает, затирает свои непонимания самим фактом разговора. Слово закрывает тему. Религия — и хватит. Человека, оказывается, сколько-то веков назад спустили на Землю — и ладно. Удивительно все же, что нет дальнейших вопросов: кто спустил, как спустили, сколькерых, что они тут поначалу делали, какие у них были инструменты. Но нет, вопросов нет, неважно, главное — идет разговор. Есть, оказывается, люди оттуда, они учат, как жить. Кто такие, чему учат, как учат, кого учат, почему не достигается потребная массовость?

Доходит совсем уже до нелепости: авторы, раз уж они так увлечены всей этой УФО-тематикой, должны были, видимо, почитать фантастику. Но никаких ссылок на то или иное сочинение нет — чтобы, например, что-то описать, сравнить: у такого-то похоже, у такого-то — нет. Видимо, дело тут все именно в междусобойности: какие-то свои дела внутри конкретной ситуации в лесах под Пермью, а ничего кроме — не существует.

Что ж, перейдем к конкретному описанию конкретной ситуации в лесах под Пермью. Итак, люди там оказались вне привычного образа жизни и мысли, в ситуации, предполагающей присутствие некоего разума, способного входить в контакт с участниками экспедиции. Вот такая задачка: есть нечто, что непонятно чем является. С ним надо как-то поладить, познакомиться, понять, что оно такое. Вступить в отношения.

От стилиевых особенностей речи перейдем к ее смыслу. Для «суржика» характерно вот что: говорящий на нем рассуждает вовсе не о предмете своей речи, но лишь о себе. Поэтому что говорящему он не подконтролен. И оттого «суржик» четко соответствует самому человеку: напрыгаться в подборе слов он не велит, и речь поэтому автоматически подстроится под предмет речи, каким он существует для говорящего. Иначе говоря, на свет полезут термины и отношения между терминами из наиболее знакомых и привычных для ведущего разговор областей.

Так вот, из каких областей участники экспедиции заимствуют потребные им для описания контакта слова? Какими словами и жестами описываются происходящее?

Полностью отсутствуют культурные реалии (про фантастов уже говорилось, но о тех есть хотя бы упоминание). Упоминается разве только еще Библия и какое-то несуразное «пересечение с буддизмом» — из духовных сфер, собственно, всё. Из психофизики: «почувствовал чье-то присутствие», «по позвоночнику пробежали мурашки», «объял страх», «почувствовал дружелюбное тепло», «с наступлением ночи становилось не по себе». Оставляя пока в покое эмоциональную окраску высказываний, отметим, что участники экспедиции, помимо отсутствия адекватного языка описания не обладают и конкретным опытом психофизических ощущений — детализировать свое восприятие они решительно не в силах.

По ходу развития контактов выясняется, что «они знают о нас все тайны», что они «представители новой планеты Красной звезды». Что они задают вопросы и ведут себя как начальники. Что отвечать следует только искренне, в противном случае

от контакта отлучат. Контактеры спрашивают разрешение на то, чтобы проверить работу вспышки. Просят разрешение на фотографирование. Риторический вопрос: на что похожа такая система отношений?

Любопытно и другое. Обнаружив себя обращающимися с неким разумом, контактеры демонстрируют полное отсутствие каких-либо личностных черт, а также — вежливости и чувства собственного достоинства. Представьте, вы — разум, кто-то — другой разум. Как, по-хорошему, должны общаться два разумных существа? А тут участники экспедиций просто-таки донимают несчастный ВЦ своей общительностью — ладно, сделаем поправку на естественный азарт исследователей, но при этом готовы на что угодно, вплоть до (некоторые) немедленного улета туда. Они не считают зазорным тут же посвятить ВЦ в самые интимные подробности своей жизни, о которых не в состоянии сообщить даже корреспонденту. То есть они относятся к этому разуму как к чему-то завидному их превосходящему, причем из этой его превосходящести немедленно следует необходимость полного подчинения. Этот другой разум автоматически осведомлен почти обо всем: «мы всё про вас знаем»... Речь идет даже не о личных комплексах и неврозах участников, но о подсознательном — столь внятно проявившемся здесь — стремлении отыскать в любой превосходящей инаковости вождя божественного бога-начальника, отца и папу: наставника мудрого, строгого, но справедливого.

И этот искомый бог-начальник-отец на первом этапе контакта работает следователем.

Естественность подобной его ипостаси, что характерно, не ставится под сомнение никем из контактеров. Они, судя по всему, хотя бы быть допрошенными, они хотя бы «показаться», с тем чтобы их перевели на какой-то следующий этап общения, оформили им очередной допуск. Что поделаешь, зона. Люди вполне согласны с тем, что неизвестное, обладающее разумом и знанием, ведет себя как вполне привычные и не столь уж утонченные органы.

Еще раз посмотрим цитаты. Пришельцы время от времени советуются с «начальством». Вся жизнь у

пришельцев протекает на высочайшем уровне духовности, поскольку их жизнь подчинена строжайшей регламентации — пришельцы при этом весьма завидуют свободе душ у нас (в Пермской области, господи!). Земля — это штрафбат, куда ссылают откуда-то еще провинившихся. Лучшие души отсылаются на планету Трон, представителем которой в свое время был И. Христос и куда забирают — устраивая скоропостижные кончины — лучших людей. В этом контексте появляется Юрий Гагарин и возникает естественный вопрос: а Чапаев? матрос Железняк? Павлик Морозов, наконец? Иисус Христос в мае — июне посетит Землю в районе Шамбалы, как инструктор ЦК. А еще есть семизначный код, с помощью которого можно перемещаться в пространстве, и еще есть код для вызова ВЦ на контакт, разглашать его не следует. Тут остается только вспомнить (тоже семизначные) телефоны начальства или, скажем, семьи Брежнева, обладание которыми, надо полагать, тоже способствовало всяким штучкам с пространством. Ну конечно, любые формы жизни должны быть в чем-то схожи, но чтобы до такой степени?.. И не под американцев, вот здорово, работают! Или это специально советский вариант ВЦ?

В общем, контакты имеют место. Тоже, впрочем, странно: телепатически идут полным ходом на высоком идейном уровне, а в лагере исследователей продолжают продолжаться бесконечные прятки-догонялки и поиски доказательств реальности контакта. То тетрадь у Мухортова украдут, то сплнинг Синицыну испортят, то дерево зачем-то продырявят, то коров перепугают, то пленки засветят. В какой среде бытуют подобные шуточки? Кажется, сюда залетел пионерский отряд, скауты или Юные Друзья милиции.

Зато теперь мы знаем, что человек произошел не от обезьяны (как же, черт возьми, Дарвин все-таки обидел советского человека), что все знания на земле — не наши, а оттуда («прошла зима, настало лето, спасибо Партии за это»), что ОНИ подают сигнал тому, кто болтает лишнее. Что есть ВЦ плохая, а есть и хорошая, и промеж них договоренность о мирном противостоянии, как у США и

СССР. Что Библия — инструкция для человечества, данная ему из лучших побуждений. Что побывав в Зоне раньше — и не совершил бы многих глупостей, ошибок и нехороших поступков. Что жить в трех измерениях — это какой-то доисторический уровень.

За державу обидно. ВЦ общается с СЧ, как какие-нибудь путешественники с аборигенами необразованных островов, притом последние мало того что радуются всем этим пластмассовым цацкам, так еще и каждого с другого берега готовы тут же считать богом. Ну как же это так, товарищи? А наши перестройка, гласность, успехи советского спорта и тяжелой металлургии? А освоение космоса, а Солженицын? И мы чего-то под этими звездами стоим! Грустно, господа...

В самом деле грустно. Похоже, что наше сознание настолько сформировано имеющейся жизнью, что надеяться на какое-либо изменение последней тщетно: даже в случае чистом и спокойном сознание выворачивает из себя знакомую структуру. Насколько же все это вьелось?

И еще вот что грустно: слишком в этих текстах много бессилия почти что предсмертного. Мотив смерти присутствует постоянно — как в варианте полного конца света (что еще как-то объяснимо, учитывая ракетные невроты недавних лет), так и в варианте личном — все эти постоянные рассуждения о покидании биомассы, корабль, тарелка эта, как вариант Хароновой лодочки. Да не в том даже дело, что этот мотив возникает, беда в том, что людям (некоторые согласны туда хоть прямо сейчас) практически непонятно, что терять. Они словно отсутствуют в жизни тут; им будто все уже показали: пошли в следующую киношлу!

Вот такой в результате комикс: боготец-начальник, работающий следователем, и если ты выдержал все испытания, то — умрешь. Биомассу покинешь. Вознесешься. Ведь тут неинтересно — потому что даже этот нелепый опыт не встраивается в опыт здешний, существует сам по себе — по какую-то ту сторону. Их то есть здесь и не существует почти. Они только в моменте выбора: туда сразу или еще погодить. Но ведь и там их поджидает то же самое.

II. ТУБЕРОЗА (ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

Памяти Федора Сологуба

Та зима в нашей южной губернской столице была на редкость оживленная и шумная. Это был последний русский провинциальный зимний сезон с оперой, балами, концертами в пользу раненых, всякими раутами и приемами, с городовыми в белых перчатках и оранжевыми шнурками под заиндевевшим башлыком, с румяными лихачами, кричавшими «Э-эп . . . » и с трудом удерживавшими рослых гнедо-чалых рысаков под залепленными пушистым снегом синими попонами, со всеми памятливыми подробностями русской жизни, которые доживали свой век. Но в ту зиму никто не думал прощаться с ними, так как никто не знал, что идущий за этой зимой 17-й год не будет обычным русским годом, а таким, для которого уже напечатанные у Отто Кирхнера календари с красными царскими днями, анекдотами и благополучными меню явятся анахронизмом.

В ту зиму, как обычно, семьями и компаниями ходили в оперу, где гастролировали Липковская, Бакланов и Собинов, посещали концерты — правда, уже не в Дворянском собрании, в котором помещался лазарет имени императрицы, а в зале Публичной библиотеки, но и там в первом ряду сидел начальник дивизии, вице-губернатор и предводитель с сыном-пажем, приехавшим на Святки, и там благотворительные концерты откры-

вались гимном, Роберт Адельгейм читал со сверкающими глазами и рычащим голосом «Письмо Вильгельму Второму», Плевацкая пела русские песни, и все заканчивалось либо великорусским хором, либо живой картиной «Россия и ее союзники», где Россию изображала дочь управляющего казенной палатой, необыкновенно дебелая и пышная девица, о которой дамы в первых рядах, глядя на нее в лорнетку, восклицали в экстазе: «Какой великолепный русский тип у Талочки! . . . Вылитая боярышня! . . . »

Та зима, помню, отличалась еще в нашем городе частыми приездами литературных знаменитостей. В течение каких-нибудь полутора-двух месяцев в двусветной зале библиотеки читали, помнится, Овсяников-Куликовский, Игорь Северянин, Бальмонт и, наконец, Федор Сологуб. Я — гимназист последнего класса, страстно увлекавшийся литературой, всем концертам, оперным гастролерам и благотворительным торжествам с балалаечниками и живыми картинами предпочитал эти скромные внешне, двухчасовые лекции на голой эстраде без лент и цветов, с одним столиком, на котором неизменно стояло две свечи и графин с водой. Когда из дверей артистической выходил человек в сюртуке или смокинге, встреченный далеко не «теноровыми» аплодисментами, скромно садился или становился за столик, отпивал

глоток воды, откашливался, перебирая пальцами конспективные листы — я вбирал в себя эти строгие и простые явления как откровения, как видения прекрасного и недоступного мира . . .

С двумя из тогдашних лекторов я познакомился и одним из этих двух был Федор Сологуб. Познакомился я в том большом, многолюдном и интересном, дружественном нам доме, который был литературным центром нашей оживленной губернской столицы. Одна из многочисленных дам — их было восемь сестер — этого дома была известная писательница и прекрасная переводчица, постоянная сотрудница «Русской мысли», часто бывавшая в столицах. Ее специальностью были болгарский и испанский языки, и мне особенно запомнился ее великолепный перевод «Апельсиновых садов» Бласко-Ибаньеса. Она — передовая, самостоятельная и обаятельно-культурная русская женщина — была в близких отношениях с Чеботаревской, а через нее хорошо знакома и с Сологубом. В тот раз Сологуб объезжал русские провинциальные города без Чеботаревской и сейчас же по приезде в наш город посетил подругу своей жены.

Возвращаясь из гимназии, я по какому-то делу — кажется, условиться относительно лекции — зашел к нашим друзьям Власовым. Я вижу как сейчас высокие сени их старинного особняка, оранжевые и синие стекла окон и огромные дубовые резные лавки вдоль стен — глава семьи был славянофил, крупный помещик и меценат, и весь дом Власовых был обставлен в русском стиле. Младшая дочь — моя ровесница — выбежала в сени и шепнула мне с блесневшими от оживления глазами, что у них в гостиной сидит Сологуб. Я, с учебниками в красных от мороза руках, наследив на полу оттаивающими сапогами — почувствовал такой страх перед тем, кто сидит вот тут рядом во власовской гостиной, что повернулся на каблуках и выскочил в дверь, почти не замечая возгласов Наташи, выбежавшей за мною в палисадник.

— Эфиоп! — крикнула она мне вслед наше еще детское ругательство, собрала на скамье под елями снег и залепила мне в шею смачную снежку . . .

Но вечером судьба по-настоящему столкнула меня с прекрасным русским поэтом и романистом. Лекция его была хотя и несколько сухая и педантичная по форме, но увлекательная по содержанию. Конечно, Альдонса и Дульцинея играли в ней крупную роль, но особенно запомнилась мне последняя часть, когда Сологуб читал свои стихи. Некрасивый, с уродливой бородавкой — помню, глядя на его лицо, я все думал: «У Листа было семь бородавок, у Сологуба — одна . . .» — он совершенно преображался, читая свои стихи. Что-то мягкое, ласковое и трогательное скользило у него тогда по лицу, и в тот раз — я слышал его дважды — мне особенно запомнились его вдохновенные стихи:

Я слagal эти мерные звуки,
чтобы голод души заглушить,
чтоб сердечные, вечные муки
в серебристых струях
утопить . . .

После лекции все собрались у Власовых для чествования Федора Кузьмича. В те времена в нашей губернской столице жило несколько известных всей России лиц, и все они бывали у Власовых. Были они все и в тот вечер. Был знаменитый на всю Россию архиепископ, крупный духовный писатель, был известный философ, муж одной из сестер, был крупный артист императорских театров, был известный польский пианист, был старый русский князь, октябрист и меценат, построивший во многих южно-русских городах глазные лечебницы своего имени, в самом доме были две выдающиеся личности: писательница и переводчица Ольга Васильевна и шурина ее, известный украинский драматург. Атмосфера, естественно, была оживленная и литературно настроенная. Говорили, конечно, о виновнике торжества, причем князь-октябрист, беседуя с молчаливо улыбающимся поэтом, все путал отличительные черты Альдонсы и Дульцинея. Так и вижу огромную, величественную, барственную фигуру старого князя — тоже ставшего жертвою лихолетья — рядом с элегантным, плотным, но невысокого роста, с туберозой в петлице Сологубом, и как князь, держа поэта за обшлаг смокинга говорил ему:

— Да позвольте, да ведь Альдонса-то и была реальная, скажем — Ева,

если Дульцинею мы сравним с Лилит, так? . .

А Сологуб тонко улыбался и помалкивал.

После ужина, в огромной зале с чудесными портретами Кипренского и Крамского, опять продолжались литературные беседы, и тогда кто-то заговорил о литературных конкурсах, несколько раз за зиму устраивавшихся у Власовых, в которых принимали участие как члены семьи, так и посторонние. Кто-то предложил прочесть премированные стихи последнего конкурса, при котором почти все нынешние гости присутствовали.

Я замер. В числе этих последних находилось и мое, называвшееся «В пыльном переулке». Помню, как жадно впился я глазами в Сологуба. Он выразил интерес и попросил Ольгу Васильевну прочесть стихи. Тогда со всех сторон раздались отчаянные крики домашних премированных поэтов:

— Ни за что! . . Ради Бога! . . В присутствии Федора Кузьмича? . . Да ни за что! . .

Он улыбался и вдруг подмигнул глазом Ольге Васильевне. Она поняла его, ушла в свою комнату — архив наших конкурсов неизменно находился у нее — и через несколько минут вернулась с премированными стихами. Теперь из присутствовавших авторов никто не протестовал больше против чтения — у всех, вероятно, было острое, волнующее любопытство — что скажет Сологуб?

Все расселись. Огромная стоячая лампа под красным шелковым абажуром мягко и уютно освещала лица. Было напряженно, тихо и торжественно. Архиепископ, сверкая драгоценной панагией, проводил правой рукой по волосам, приготовившись слушать. Старый князь еще перешептывался о чем-то со своим соседом-драматургом. Сологуб сидел как каменный.

Я живо помню все эти премированные стихотворения. Одно — Ольга Васильевна — рассказывало в строгих гекзаметрах испанскую легенду о золотом руне, было длинно, пышно, но на мой вкус слишком выспренно и ходульно. Другое — шуточная баллада — принадлежало перу нашего хохлацкого драматурга, было взято из самой полтавской гущи и от-

личалось великолепными живыми диалогами. Сологуб, вероятно мало понимавший по-украински, все же, видимо, уловил соль баллады и улыбался, щуря глаза. Еще одно было — лирическое, немного надсоновское и темное, с чрезмерным количеством цветов и драгоценных камней. Я видел, как Сологуб, слушая это стихотворение, оставался совершенно каменным, и мучился тревогой — какое у него будет лицо от моего? . .

Стихами в надсоновском стиле, помню, шумно восторгался старый князь, зная, что автор его — одна из младших сестер, хорошенькая, багрово красневшая от его похвал девушка. И вот, когда похвалы князя, смущение поэтессы, разговоры и смех по этому поводу несколько улеглись, Ольга Васильевна громко прочла: — «В пыльном переулке».

После драгоценных камней и цветов это было неожиданно и немного странно, так что старый князь даже переспросил:

— Как, как? . .

У меня екнуло сердце, и я, не отрывая глаз, смотрел на Сологуба. Стихи мои повествовали о пыльном переулке в знойный летний день, о застывшем, дрожащем, густом, как елей, воздухе, в котором реют и гаснут сытые, ленивые летние звуки — стук наковальни в полковой кузне на дворе казармы, протяжная частушка, лениво выпеваемая распоясавшимся солдатом, сидящим на лавке у ворот, удаляющийся грохот телеги, шарманка на задворках . . и как эти звуки будто всасываются солнцем, и как пылают кирпичные стены казармы и безусое лицо солдата, и как легкий ветер колеблет серебристую листву тополя у забора, и как в даль переулка, будто накаленные солнцем, убегают жаркие колеи дороги, на которой копошатся куры, зарываясь в горячую, как зола, пыль, и как за косогором виден блестящий слюдою плес речонки и как оттуда тянет нагретым камышом и илом . . .

Было уже достаточно поздно, когда все шумное общество провожало Сологуба в переднюю, после того как посланный к ближайшей стоянке казачок доложил о прибытии извозчика. Опять громко и много — и опять, кажется, о Дульцинее — говорил князь, Ольга Васильевна просила что-

то передать Чеботаревской, драматург на прощанье рассказывал хохляцкий анекдот, а поэт, на которого все это было направлено, стоял беспомощный и улыбался. Помню, я подал ему шубу. Тогда он вдруг пристально, с какой-то вдруг теплотой взглянул на меня, быстро вынул из петлицы смокинга полузавядшую туберозу и протянул ее мне.

— Это вам за «Переулоч», — сказал он.

Когда я возвращался от Власовых,

была хрустальная зимняя ночь. Снег хрустел упруго и цепко, небо было почти белое от луны и звезд, вкусно и дымно пахло морозом, и во всем этом было для меня необъяснимое торжество и счастье.

Безвозвратно ушли годы, вместе с тысячей других любимых сердцу предметов погибла и увядшая тубероза, ныне не стало и старого поэта, но та крупница счастья, которую он мне дал в тот вечер в старой милой русской провинции, будет жить в памяти, пока не угаснет она сама...

(«Сегодня», 1928, № 1)

III. НА АВТОМОБИЛЕ ЧЕРЕЗ КУРЛЯндиЮ

Известная курляндская писательница, одна из лучших после Теодора Германа Пантениуса немецких ее бытоизобразительниц — Миа Мюнхэ-Вроблевска — на Пасхе текущего года выпустила в свет первый том капитально задуманного труда: пять книг новелл и рассказов об этом своеобразном, обособленном и характерном уголке нынешней Латвии, о людях и нравах его, и о красочной, исторически такой беспокойной и переменичивой его судьбе. Цикл новелл, целиком посвященных одной саксонской семье, в начале XVIII столетия переселившейся в Курляндию и обосновавшейся тут, открывает рассказ о родоначальнике этой семьи, в настоящее время являющейся одной из известнейших балтийско-немецких фамилий, имевших и имеющих в своей среде немало выдающихся профессоров и ученых. Он прибыл в Митаву как раз в тот день, когда тогдашняя курляндская столица хоронила последнего герцога из дома Кетлеров, того Фридриха-Вильгельма, который, возвращаясь из Петербурга и обрученный с одной из рос-

сийских принцесс, смертельно заболел на какой-то ингерманландской почтовой станции. Родоначальник этот, обосновавшийся в Цабельнском¹ пасторате, создал династию пасторов, в течение двух веков и семи поколений неизменно проповедовавших слово Божие с древней кафедрой древней Цабельнской кирки.

Второй рассказ цикла вводит нас в мир старого Гольдингена² и его дворянства, а третий перебрасывает — уже к середине прошлого века — в богатый в те времена портовый городок Виндава³, в эпоху живописного бидермейера. В дальнейших томах талантливая писательница предполагает дать обзор конца XIX и начала XX веков под призмой Курляндии и типичной для нее немецко-балтийской семьи, русификацию, первую революцию, германскую оккупацию, эпоху большевизма и, наконец, наши дни.

¹ Ныне — Сабиле.

² Ныне — Кулдига.

³ Ныне — Вентспилс.

Эту книгу, близкую мне по родственности к той семье, которая описывается в ней, я вспоминаю, когда недавно мне пришлось в автомобильной поездке пересечь значительную часть Курляндии, от северо-запада на юго-восток, проехать свыше ста километров в долине живописной Венты и посетить три города, в которых и поньше живут представители описываемой Вроблевской семьи: Виндаву, Гольдинген и Фрауэнбург¹.

Старый портовый город на Балтийском море, который явился исходным пунктом моей поездки, вероятно, мало чем изменился со времен того Якова-Христиана, тогдашнего бургомистра и патриция, который является центральной фигурой бидермейеровской виндавской новеллы Вроблевской. Пожалуй, тише и беднее стала жизнь порта и гавани, реже заезды скандинавских и датских купцов, менее значителен вывоз леса и смолы, менее патриархальна жизнь зажиточных негоциантских семей, но городок, так же как в те 40-е годы, стоит и кажется свой лик под знаком старого, заключенного в объятия лип, седого замка с черными очами бойниц, так же как тогда, кирпичными громадами тянутся бесчисленные корпуса амбаров, пакгаузов и таможенных зданий, так же влажными, розовато-пепельными булыжинами тянется в море то тихо и лениво, то с многопенным шипением омываемый сизыми волнами мол, так же весел, многоцветен и криклив маленький порт на Венте, это царство рыбацких баржей, засмоленных душегубок, пестрых вымпелов на мачтах утлых парусных суденышек, этот мир рыжебородых, крепких и молчаливых рыбаков и фиолетовой воблы.

И есть и по сей день на тихих городских улочках дома, которые, кажется, проспали все толчки, сполохи и извержения времен, которые так и застыли в чинном и опрятном своем бидермейере и крепко замкнулись в своих низких комнатах с крашеными переплетами матиц, с зеленым лоском изразцовых печей, с алым блеском пузатых шкафов, ларей и шифоньерок, с серыми и рыжими под похужлым стеклом эстампами, на которых изображены все та же Диана

на охоте, та же гетевская Гретхен перед распятием, те же шмуцлеровские монахи и кардиналы за гранеными бокалами бургундского . . .

Июньским вечером, на одной такой тихой улице в зацветающих каштанах, я увидел старую даму, выходящую из дверей бидермейеровского домика: тонкая вся, седая, в мягких прионелевых туфлях, в шуршащем добротном шелку, с наколкой и огромной золотой фамильной брошью в виде замка, которым она крепко и безмятежно заперла свою услокоенную стародевичью грудь, — и я понял, что еще не все нити порваны, что, тонко качаясь, вьется еще где-то алая от вечерней зари паутинка, связующая, правда, хрупкая уже и едва уловимая, но еще дающая духовному слуху последний отлетающий и угасающий шелест старины.

Таким румяным вечером, уже полным запаха конского щавеля и бесшумности с лугов, ехали мы из Виндавы в Гольдинген на бесстрастном и торопливом Шевролете, имея вокруг себя бледно-зеленые и дымно-сиреневые просторы, каменные ветряные мельницы, заливные луга, красно-бело-красное мелькание километровых столбов, долгую, нежно-пламенную, перламутровую зарю. На одном из перекрестков, у волостной корчмы — кажется, это было у шлэксской¹ дороги — долго стояла машина, шел пар из-под поднятой крышки радиатора, дрожь мотора плыла под ногами, много раз с ведрцем в руках бежал к ручью и обратно шофер, а кругом летал и гас тихий курляндский вечер, волны молодых лугов, фиолетовые тени паров, дальние шеренги потускневших синих лесов.

Влево, за белой пеной березовой рошцы, холодным стальным клинком виднелась Вента, и там, в пуху молодой листвы, немолчно, страстно и жарко заливались соловьи. За корчмой, где-то у колодца, шмистый журавель которого поднимался из-за увитого повиликой частокола, слышался голоса. Старые деревенские, простые люди медленно и уверенно, точно тяжелые вращая булыжины, говорили о своих делах, крепкие делали паузы перед особо увесистым словом-булыжиной, и так и чувствова-

¹ Ныне — Салдус.

¹ Ныне — Слока.

лось, как в точку попадающие ядерные слова сопровождаются пущенными из черешневых люлек струйками прозрачного на вечернем воздухе махорочного дыма.

А потом дальше из мягких опаловых просторов вынырнул Гольдинген, чешуйчатые шапки церковных башен, оливковый дым зелени, маленькое среди опала росистых лугов озерко черепичных крыш и молочно-белых стен. Городок, в котором бытописательница Курляндия провела большую часть своей жизни и которому она посвятила лучший свой роман «Черная смерть» — из эпохи чумы в начале XVIII столетия — и многочисленные новеллы.

У этого городка, как редко у какого другого из мелких курляндских городков, есть свой стиль, свой лик, своя традиционная поступь жизни, свои предания, легенды и поэзия. В этом отношении он резко отличается от какого-нибудь безличного Туккума или бесстильного города-парвеню Либавы¹. Не только то, что в нем сохранились постройки из герцогских времен, пекарня, подземный ход, герцогский винный погреб в городском саду, не только то, что старинная его кирха изумительно хороша и стильна, а ратуша и сейчас вообразима в средневековом немецком городке — но есть в кривых и горбатых улочках его, в садах и липовых аллеях, в седой и мшистой мельнице с прудом, в этой отрешенности от мира и железных дорог, в крепости его традиций, как одного из выдающихся школьных городов, в экстерьерах и интерьерях его старинных особняков много ненарушимой упорности и патриархальности, много наивности и первичности обособленного, но жизнеспособного стиля.

И немолчно, грохотливо и шумно низвергается у стен старинного городка высокий водопад на Венте, бело-сизый парапет из шипучей пены и чешуйчатых брызгов, и на этом бруствере тихо и влажно, как огромные рассыпанные гривны, плывет серебро луны — нынче, как столетие или два тому назад, в те дни страшного морового поветрия чумы, так мастерски описанные писательницей, в обществе которой я в этот вечер

любовался жемчужным каскадом воды и света.

Но не только она была в нашем обществе, был и старейшина той семьи, жизнь и деятельность которой описывается и будет описываться в этом интересном цикле курляндских новелл. Старый, седой врач, знающий не только каждого человека в своем городке, но помнящий также имена всех псов и кошек или хотя бы тех из них, которые принадлежат к инвентарям наиболее уважаемых домов. Врач этот уже около полувека лечит с успехом своих сограждан, переняв эту обязанность от покойного отца своего, опять-таки вышедшего четырех десятков лет эскулапствовавшего в старинном курляндском городке, — итогом почти столетия, что городок неизменно имел врача той фамилии, которая в Цабельне два столетия проповедовала слово Божие: хорошие, крепкие цифры, из которых не могла не выработаться своя хорошая и крепкая традиция.

О старом докторе, отце нынешнего, рассказывают, между прочим, что он зиму и лето ходил под зонтиком с шляпою в руке, которою он только размахивал по направлению к тому человеку, которому кланялся, то есть каждого встречного. И еще десятки и сотни иных забавных историек, составивших бы целую главу книги.

Новая глава этой книги открылась мне на следующий день, в Фрауэнбурге, куда нас — через ворменные леса и тоже по большей части в долине Венты — довел тот же торопливый и обильный бензиновой вонью Шевролет. Городок Фрауэнбург — жиденский, тускленский, почти не стоящий упоминания. Но вот вечером в Немецком общественном собрании состоялся бал, и в виде вступления к этому балу рижские студенты одной из стариннейших местных немецких корпораций сыграли типичный студенческий водевиль в стихах.

Водевиль как водевиль — с буршами, красноносым педелем, карикатурным профессором и очаровательницей дочерью его, которую также изображал молодой фукс. А потом, уже в предутренний час, когда к высоким окнам залы лип сиреневый июньский рассвет, студенты за обильным пивом столом запели гаудеамус, и мне снова вспомнилась курляндская книга Вроблевской.

¹ Ныне — Лиепая.

И у нее, в книге, и тут, в Фрауэнбурге, среди студентов с зелено-сине-белыми декалями было по представителю той семьи, которая свыше двух столетий назад бросила свой чем-то не угодивший ей Мейсен, чтобы переселиться в далекую, чужую и тогда, после морового чумного года, обедневшую и обнищавшую Курляндию. Чтобы неуверенной еще, робкою рукою бросить свои первые зерна в лежавшую под паром девственную курляндскую землю, чтобы упорным и тяжелым трудом, преодолевая чужой язык, нравы, суеверия и традиции, создать тут нечто свое, новую родину среди паровых полей, новую твердь среди болот и топей, новую ячейку своего труда. Удалось ли это им?

Всецело ли они здесь, всецело ли восприяли новое ярмо и новую легкость жизни, всецело ли отряхнули с ног прах далекого своего Мейсена?

Кто знает! Кто может когда-либо и где-либо подводить итоги среди беспрерывного вращения и движения молекул жизни и труда, кто может когда-либо и где-либо измерить безошибочно хоть пядь пройденного пути, когда не кончилось еще мелькание веж впереди и не рассеялся еще туман близкого и дальнего футурума...

«Вита ностра брэвис эст, брэвэ фунизтур...»¹ — пели студенты-корпоранты, а к окнам жался прохладный сиреневый рассвет, быстрое таяние белесой курляндской ночи. Те двести лет, что прожили тут непрошенные мейсенские и другие пришельцы — и они унеслись, как струи яроводья, как эта светлейшая палевая ночь за окном, как звуки хмельной студенческой песни:

«Вита ностра брэвис эст!...»

¹ «Жизнь наша быстротечна и скоро кончается...» (латин.).

(«Сегодня вечером», 1927, № 148)



Самая короткая ночь...

Фото Улдиса Бриедиса

РИСУНКИ ЗАБЫТОГО ХУДОЖНИКА

В последнее время в нескольких периодических изданиях появились работы оригинального русского художника Юрия Константиновича Арцыбушева. Долгие годы его творчество было известно лишь узкому кругу специалистов-искусствоведов. Подлинники рисунков и все издания литографий художника находились в так называемых спецхранах архивов и библиотек. Это было связано в первую очередь с тем, что Ю. К. Арцыбушев — автор уникального цикла портретов деятелей русской революции, в том числе и лидеров партии большевиков. Художник был чужд какой-либо идеализации политических деятелей, и рисунки этой серии выполнены в присущей ему гротесковой манере. Они составили самостоятельный, вполне оригинальный иконографический ряд портретов всех видных политиков, действовавших в революции 1917 года, — от Л. Г. Корнилова до В. И. Ленина.

Многое в биографии Арцыбушева неизвестно до сих пор, сведения о его жизни отрывочны: сохранилось несколько архивных документов, встречаются лаконичные упоминания о нем в искусствоведческих изданиях 20-х годов. Достаточно сказать, что в единственной биографической статье о художнике, вышедшей в последние годы (журнал «В мире книг», 1989, № 4, с. 30—32), его возраст указан с ошибкой в десять лет.

Юрий Константинович Арцыбушев родился 16(28) марта 1877 года в семье крупного инженера-путейца. Арцыбушевы, старинный дворянский род, — выходцы из Литвы. Они появились в России в XVI веке, при великом князе Василии III¹. Вплоть до начала XX века семья владела поместьем Усть-Крестиче в Курской губернии. В архиве Департамента полиции сохранился документ, содер-

жащий единственную достоверную информацию о ранних годах жизни художника. В январе 1908 г. Ю. К. Арцыбушев с компаньоном, Н. Н. Алябьевым, ходатайствовал о разрешении издавать в Москве еженедельный иллюстрированный художественно-литературный журнал. Главное управление по делам печати Министерства внутренних дел Российской империи в связи с этим запросило Департамент полиции о благонадежности предполагаемых издателей. Сохранилась справка Охранного отделения о Ю. К. Арцыбушеве. В секретном деле о журнале «Вертоград многоцветный» говорится: «Проживающий в Москве, в доме княгини Трубецкой, по Долгоруковской улице, 1 участка Сущевской части, сын потомственного дворянина Георгий (Юрий) Константинов Арцыбушев, 26 лет, женат на Марии Васильевой, 28 лет, имеет в Москве родную сестру Ольгу, 21 года, и брата Сергея, 19 лет — воспитанника реального училища. Все эти лица прибыли в Москву 20 сентября 1902 из Курской губернии. Георгий Арцыбушев образование получил в Реальном училище Воскресенского в Москве. Мать Арцыбушевых, живущая в собственном имении в Курской губернии, посылает детям ежемесячно 100 рублей, а Георгий Арцыбушев, кроме того, занимается художественными работами, чем добывает от двух тысяч до 2500 рублей в год и имеет наличный капитал в 10 тысяч рублей. Нравственных качеств Георгий Арцыбушев хороших и ни в чем предосудительном в политическом отношении, за время проживания своего в Москве, замечен не был»². Предполагаемое издание не состоялось — вероятно, из-за политической неблагонадежности Алябьева.

Однако уже в декабре 1904 г.



Ю. К. Арцыбушев обращается с новым ходатайством об издании иллюстрированного литературно-художественного журнала³. На этот раз разрешение было быстро получено, и уже 5 июня 1905 г. вышел первый номер журнала «Зритель». Сразу же стало ясно, что новый петербургский еженедельник имеет собственное лицо, и в значительной степени благодаря редактору-издателю. Арцыбушев привлек к сотрудничеству в «Зрителе» Федора Сологуба

(Ф. К. Тетерников), Сашу Черного (А. М. Гликиберг), В. А. Зоргенфрея, В. Лихачева, художников С. В. Чехонина, Е. Е. Лансере, А. А. Кудинова, Д. И. Митрохина. «Зритель» стал первым русским журналом политической сатиры, рассчитанным на самый широкий, демократический круг читателей. По отзыву министра внутренних дел А. Г. Булыгина, журнал «желает быть органом юмористическим, с содержанием на темы исключительно почти политического

характера, причем задается целями антиправительственной пропаганды и развития в обществе революционного настроения»⁴. Фельетоны и карикатуры «Зрителя» были направлены против высших сановников империи, ряда политических деятелей, полицейского произвола. Среди петербургской публики получили широкую известность карикатуры на председателя Совета министров С. Ю. Витте, министра внутренних дел П. Н. Дурново, петербургского генерал-губернатора Д. Ф. Трепова, московского — Ф. В. Дубасова, обер-прокурора К. П. Победоносцева. Персонажи журнала — городские, казачьи урядники, полицейские филеры, «соблюдающие» обывателя и его «свободы»⁵.

Несколько номеров «Зрителя» было арестовано, цензура неоднократно подвергала запрещению отдельные статьи и рисунки. Всего под редакцией Арцыбушева было выпущено 25 номеров еженедельника, причем последний, двадцать пятый номер, вышедший вопреки цензурному запрету, был конфискован в типографии.

В декабре 1905 г. Петербургской судебной палатой было возбуждено дело против редактора-издателя Ю. К. Арцыбушева, так как в нескольких карикатурах Главное управление по делам печати усмотрело портретное сходство с царствующим императором. Издатель был приговорен к двум с половиной годам заключения в крепости, и только обжалование дела в Правительствующий Сенат спасло художника от тюрьмы. Видимо, сенаторы предпочли не усмотреть предсудительного сходства.

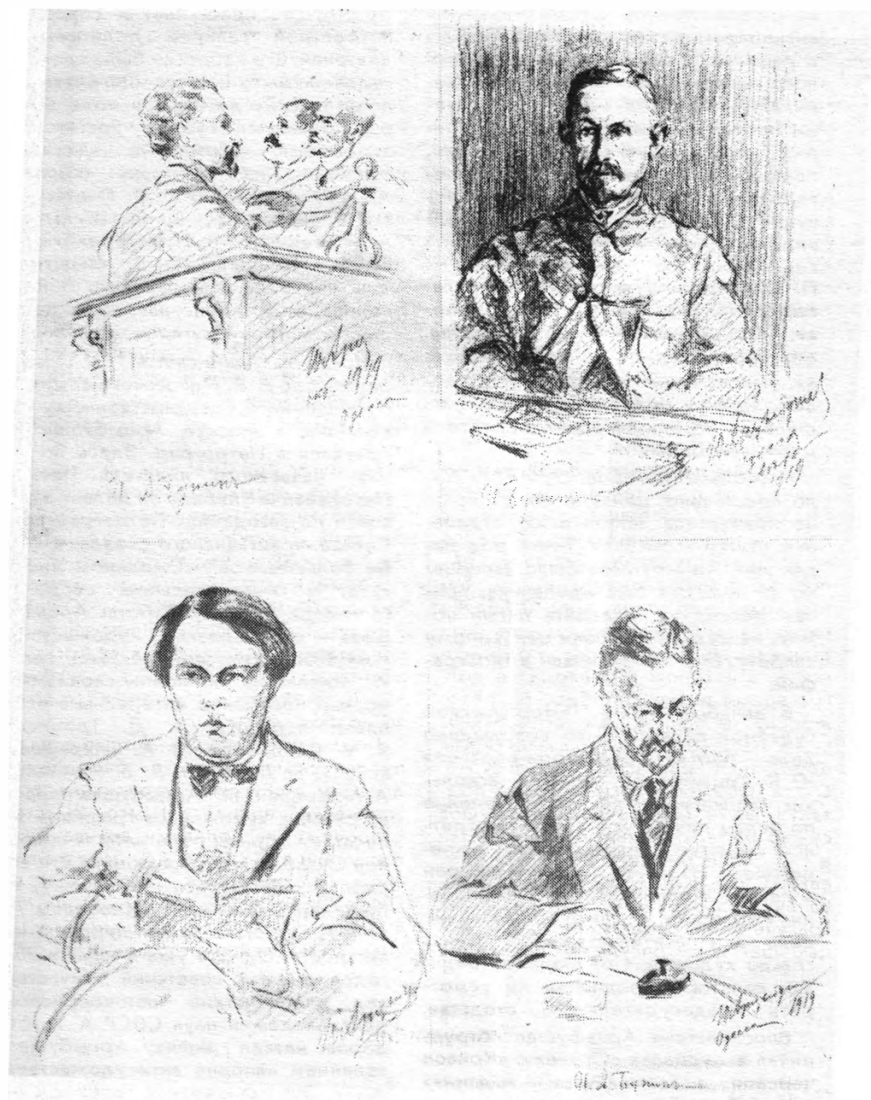
Впоследствии Арцыбушев сотрудничал в журналах «Огонек», «Кривое зеркало», в газете «Русь» — изданиях оппозиционной, преимущественно либерально-кадетской, ориентации. В эти годы он близок к кругу художников объединения «Мир искусства» (Е. Е. Лансере, А. Н. Бенуа, М. В. Добужинский, З. Е. Серебрякова). Во время мировой войны, в 1915 г., Арцыбушев выпускает первый небольшой альбом автолинографий «Типы военнопленных». Австро-венгерские и немецкие пленные изображены художником с беззлым юмором и некоторым сочувствием⁶.

После Февральской революции

Арцыбушев приступает к созданию портретной галереи политических деятелей. Все наброски были сделаны художником с натуры. Он очевидец политических дебатов, в ходе которых решались судьбы России. Их атмосфера, несомненно, наложила отпечаток на трактовку образов. Арцыбушев рисует Г. В. Плеханова, М. В. Родзянко, В. В. Шульгина, А. Ф. Керенского, П. А. Кропоткина, В. М. Чернова, И. Г. Церетели, Н. С. Чхеидзе, генералов Л. Г. Корнилова, М. В. Алексеева, А. М. Каледина и многих других⁷.

После выхода в свет в 1917 г. в издательстве Д. Я. Маковского альбома, посвященного Государственному совещанию в Москве, Арцыбушев отправился в Петроград. Здесь по заказу известного издателя Иосифа Николаевича Кнебеля он делает зарисовки на заседаниях Петроградского Совета, крестьянского съезда, в штабе большевиков — Смольном институте, в Учредительном собрании (5 января 1918 г.). Работы Арцыбушева — своеобразный художественно-публицистический документ эпохи. Многие из них полны сарказма и иронии. Особенно интересны в этом плане портреты Л. Д. Троцкого, Я. М. Свердловского, М. А. Спиридоновой, П. Е. Дыбенко, Л. Б. Каменева, А. М. Коллонтай⁸. Арцыбушев первый из русских художников-графиков запечатлел образы политиков — деятелей Октябрьской революции. Эти его работы оценивались по-разному, но блестяще изданный Кнебелем в 1918 г. альбом получил широкую известность. Однако уже в начале 20-х годов видный советский искусствовед, впоследствии член-корреспондент Академии наук СССР А. А. Сидоров, назвал графику Арцыбушева явлением «вполне антихудожественным». Эта официальная точка зрения не оспаривалась более 60 лет.

Самостоятельный цикл представляют публикуемые в журнале портреты выдающихся русских писателей и поэтов. Они сделаны Арцыбушевым с натуры в Москве и Петрограде в 1916—1917 гг. Эти рисунки ни в одно издание арцыбушевских работ не вошли. Каждый из них несомненно отмечен тонким личностным восприятием модели. Точно схвачен облик, стиль выступающего перед публикой Игоря Северянина. В рисунке чувствуется



сам ритм его поэтической речи, тональность и настроение звучащих стихов.

Портреты Андрея Белого также сделаны во время публичных выступлений поэта после его возвращения в Россию в августе 1916 г. Скорее всего — на знаменитых лекциях об основах поэтического мастерства. Именно в этот период А. Белый работал над программной статьей «Жезл Аарона. /О слове в поэзии/»,

и, видимо, Арцыбушев неслучайно процитировал поэта на полях рисунка.

Интересен портрет почти забытого теперь поэта Д. М. Ратгауза. Ратгауз — одна из популярнейших поэтических фигур начала века. Его мелодичные лирические стихи были положены на музыку П. И. Чайковским, С. В. Рахманиновым, А. Т. Гречаниновым.

Резко очерченный профиль Ратгауза явно контрастирует с обликом

А. А. Блока. В последние годы жизни Александр Блок, как известно, не позировал художникам¹⁰. Портрет сделан после Февральской революции, когда поэт служил в Петрограде редактором стенографических отчетов Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию преступлений царского правительства. На рисунке он выглядит уставшим, надломленным, его облик совершенно не вяжется с каноническим «медальным» образом, сложившимся в иконографии поэта. Характерно, что в этом портрете Арцыбушев отступает от присущей ему четкости линий.

Несколько позднее, летом и осенью 1919 г. в Одессе, Ю. К. Арцыбушев рисует три портрета И. А. Бунина¹¹. Все три очень непохожи по манере, да и обстановка, в которой они сделаны, совершенно разная: за работой над рукописью и на кафедре во время выступления. Вероятно, для портрета, выполненного летом, Бунин позировал специально. В облике писателя отчетливо проступает опустошенность, состояние подавленности, в котором он находился долгое время после Октябрьской революции, названной им «повальным сумасшествием». Совершенно иным предстает Бунин на другом рисунке. Он за работой — сосредоточен, подтянут, даже ожесточен. Арцыбушев сумел передать энергию творчества и публицистический темперамент автора «Окаянных дней». Художник запечатлел Бунина в один из самых трагических периодов его жизни. Арцыбушевские рисунки — последние

портреты И. А. Бунина, сделанные в России.

Ю. К. Арцыбушев покинул Одессу, так же как и Бунин, в январе 1920 г. В эмиграции во Франции художник сотрудничал в различных изданиях, работал в театре. В Париже небольшим тиражом он выпустил альбом литографий «Памяти ушедших», в который вошли портреты известных русских политических деятелей, в том числе убитых в 1918 г. А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина¹².

После второй мировой войны, в 1947 г., Ю. К. Арцыбушев с семьей возвратился на Родину. Единственный источник сведений о жизни Ю. К. Арцыбушева в СССР — свидетельство его родственницы С. Д. Лансере, основанное на нескольких сохранившихся письмах. Поселившись в Тбилиси, Арцыбушев до конца 1950 г. работал в Театре им. Ш. Руставели. Затем он был арестован и выслан с женой и двумя дочерьми в село Бакара Кировского района Южно-Казахстанской области. Единственным средством существования семьи художника была работа в совхозе. Ю. К. Арцыбушев умер в ссылке 12 ноября 1952 г.

Подлинные рисунки Арцыбушева, публикуемые в «Даугаве», были переданы им в «Русский заграничный исторический архив» в Праге. Вместе с прочими материалами архива они поступили в СССР как дар правительства Чехословацкой Республики в 1945 г. В настоящее время хранятся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции СССР.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Новый энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. — СПб., б. г. — Т. 3 — Стб. 944.
2. ЦГАОР СССР, ф. 102, 3 д-во, 1903 г., д. 316, ч. 4, л. 6—7.
3. ЦГАОР СССР, ф. 102, 3 д-во, 1904 г., д. 316, ч. 94, л. 1—2.
4. Русская сатира первой революции. 1905—1906. Сост. В. Боцяновский и Э. Голлербах. — Л., 1925. — С. 197.
5. См.: ж. «Зритель», № 1—25. — СПб., 1905.
6. Типы военнопленных. Наброски на камне Ю. Арцыбушева. — М.: Изд-во «Автопечать», 1915.
7. 12, 14 и 15 августа в Москве. Рисунки Ю. К. Арцыбушева на заседаниях
8. См.: Диктатура пролетариата. — Птг., 1918.
9. Сидоров А. А. Русская графика за годы революции. 1917—1922 гг. — М.: «Дом книги», 1923. — С. 55.
10. М. Долинский. Оригинал и портретисты. О прижизненных портретах А. А. Блока. Панорама искусств. — Вып. 4 — М., 1981. — С. 343.
11. Один из рисунков — И. А. Бунин на кафедре, октябрь 1919 г. — близок к портрету, опубликованному в «Литературном наследстве». — М.: «Наука», 1973. — Т. 84, кн. 2. — С. 451.
12. Памяти ушедших. Автолитографии с натуры Ю. К. Арцыбушева. — Б. м., б. г. — Л. 5, 6.

САМАЯ КОРОТКАЯ НОЧЬ...

Для латышей самая короткая ночь года — самая прекрасная. Единственная в году, когда от зари до зари горят костры, люди поют, едят и пьют, чтобы хоть один раз за весь год превозмочь ночную тьму. Эта ночь называется Лиго, она полна любви, и не только молодые парни и девушки отправляются на поиски цветка папоротника, расцветающего лишь в песнях, сказках и на полотнах художников. А через девять месяцев на свет появляются голосистые малыши, для которых эта ночь, пока они живы, будет полна необъяснимого стремления к свету.

Ленты кинохроники сталинских времен запечатлели латышей в национальных костюмах, танцующими со счастливыми лицами и прославляющими в своих песнях великого вождя. У многих глаза лучатся неподдельной радостью — как не порадоваться, если судьба по меньшей мере на этот раз уберегла тебя от празднования Янова дня где-то в далекой Сибири...

В средние века немецкие бароны выкатывали своим крепостным бочку пива — пусть уж одну эту ночку порадуется, завтра усердней трудиться в поле будут.

Даже церковники смотрели сквозь пальцы на то, что делалось в эту самую короткую ночь. Они, как подобает образованным людям, понимали, что все религии латышам принесли завоеватели и что истинно верующих среди них поэтому мало, что латыши при первой же возможности смывают с себя все религии в реках родного края. Так пусть уж эту ночку посвятят своим языческим обрядам; в воскресенье явятся в храм божий, и там их можно будет за это пристыдить.

Совершенно неожиданно празднование Янова дня было запрещено во времена Хрущева. Говорят, когда Никита Сергеевич с Вальтером Ульбрихтом посетили Латвию, один из местных тузов обратился к нему с просьбой сделать день Лиго официальным праздником — все равно на следующий день никто как следует не работает. У Никиты Сергеевича было плохое настроение. Он нахмурился и спросил: «Что это еще за праздник Лиго? Какой еще Янов день?!» И раздосадованный взшел в свой самолет. После этого и запретили праздник Лиго. Песни Лиго были изъяты из книг и газет. Те, кто поминал обряды Лиго добрым словом, увольнялись с работы, их исключали из партии. Вредность этого языческого праздника Лиго была теоретически обоснована: оказывается, В. И. Ленин ни в одной своей работе этот праздник не упоминал.

Хотя самого Хрущева вскоре сняли за волюнтаризм, запрет на праздник Лиго остался. Проводить самую короткую ночь стало чем-то вроде приятного протеста против существующих порядков. Напиваться в Янову ночь стало признаком национальной доблести. Разумеется, проживавшие в Латвии люди других национальностей охотно принимали участие в подобных массовых акциях. Кому не охота лишний раз гульнуть!

В прошлом году впервые официально разрешили праздновать Янов день. Верховный Совет принял соответствующее постановление, и де-

путаты проголосовали. Но тут выяснилось, что все уже успели позабыть, как надо отмечать самую короткую ночь года. В условиях борьбы с алкоголизмом даже к этому празднику раздобыть бутылку было крайне трудно... Зато кто хотел, мог гнать самогон. Хорошее пиво осталось лишь в песнях времен крепостного права. Даже из молока рекордисток теперь не приготовить того особого сыра: коров лечат редкими лекарствами, а доярки, чтобы молоко не скисало, добавляют в него стиральный порошок.

Пока шла борьба за разрешение отмечать древний праздник, люди успели позабыть о том, что Янис должен быть зажиточным и уважаемым человеком, что к Янову дню надо скосить все сено и свезти его в сарай. А если у матери Яниса не подметен двор, если не вымыты окна, явятся гости и в песнях ославят хозяйку.

В прежние времена для праздничных костров берегли самые сухие, самые лучшие дрова. Теперь же в честь праздника жгут автопокрышки, и копоть покрывает лица поющих, делая их похожими на чертей.

И все же... Самую короткую ночь года люди торжественно отмечают, пусть и доставляя лишние заботы пожарникам, милиции, автоинспекторам или врачам скорой помощи. Одни собирают штрафы, другие оказывают помощь чрезмерно выпившим, развозя их по бесплатным медицинским учреждениям. Ведь в эту ночь никто не смеет спать, ибо это совершенно особая ночь. Большинство латышей зачат именно в Янову ночь, когда их отцы и матери отправились на поиски цветка папоротника, которого, как известно, нет, но который существует в старинных песнях, сказках и на картинах художников.

После этой самой короткой ночи года с ее буйным весельем и неописуемой красотой выгоревшие костры дымят весь день. И дым этот навеивает грустную мысль о том, что теперь ночи будут все длиннее, лучи солнца бледнее, а там, смотришь, недалеко до зимы. Дрова понадобятся для печи. Она пусть не очень светит, но зато греет.

Андрис Якубан



Самая короткая ночь...

ТРИ ВОПРОСА МИНИСТРУ СВЯЗИ

За первые месяцы 1990 года в редакцию поступили десятки писем из разных городов страны — от Калининграда до Южно-Сахалинска. Подписчики «Даугавы» предъявляют претензии Министерству связи и «Союзпечати». Значительная часть жалуется на то, что они лишены возможности подписаться на журнал «Даугава». В Ростове-на-Дону, например, работники «Союзпечати» сказали: на латвийские издания, мол, подписку не принимаем. Запрещено.

Кто запрещает?

Некоторые наши корреспонденты считают, что это произвол местных консервативно настроенных властей, иные — что это козни каких-то московских начальников, которые косо смотрят на некоторые прибалтийские издания, ибо подписка не принимается также на «Родник» и на «Советскую молодежь»...

В чем же истинная причина!

С этим вопросом корреспондент «Даугавы» обратился к министру связи Латвийской ССР **Освальдсу Карповичу СТУНГРЕВИЦУ**.

— Нет, дело тут не в отношении к латвийским изданиям работников «Союзпечати» Ростова, Хабаровска или Калининграда. И не в распоряжении московских работников службы распространения печати. Дальнейшее увеличение подписки приостановлено на основании телеграммы, отправленной из Риги. Она была подписана мною по просьбе директора Издательства ЦК КП Латвии К. Дундурса и с согласия секретаря ЦК КП Латвии (в то время) И. Кезберса. Вот ее текст:

«В связи с исчерпанием тиражей не принимать с 8 января подписку доставкой с февраля и последующих месяцев 1990 года на газеты и журналы Латвийской ССР, восстанавливается лишь отпадающая подписка».

Эта телеграмма была направлена в Министерство связи СССР, в управления «Союзпечати» министерств связи союзных республик и ПО «Союзпечати» Ленинграда.

Причина — возникшие осложнения с бумагой в республике.

— Многие читатели жалуются на то, что, подписавшись на первый квартал, они не могут продлить подписку до конца года.

— Последнее предложение приведенной телеграммы означает обратное: у этих людей подписка должна приниматься. Это и есть так называемая «отпадающая подписка», которая и восстанавливается. Надо лишь предъявить квитанцию о подписке за предыдущий квартал, и в любом отделении «Союзпечати» она должна быть восстановлена.

— А как быть с теми, кто, несмотря на оформленную на весь год подписку, так и не получил отдельных номеров! Есть и такие письма.

— По этому поводу следует обращаться в свой республиканский, областной, районный или городской узел связи, и только если они не получили нужного количества экземпляров журнала «Даугава» — необходимо обращаться по адресу: **226000, Рига, Вокзальная площадь, 1, Латвийский республиканский центр перевозок почты, цех экспедирования печати.**

КРАЙНЯЯ СТЕПЕНЬ ОДИЧАНИЯ

Пишу вам под впечатлением статьи А. Жданка об Интерфронте, напечатанной в одиннадцатом номере «Даугавы».

Бытовой шовинизм (а его, поверьте, немало в России) напоминает мне склоку на коммунальной кухне: я, мол, в борщ кладу мясо, а моя соседка — сало, значит, она дура и жить не умеет. Нетерпимость — она всегда от хамства и невоспитанности. Ну а что касается отношения к разноязычию . . . О том в свое время рассказал нам Ярослав Гашек. Помните, храбрый солдат Швейк и сапер Водичка пришли в венгерском городе в дом господина Каконя. На стук вышла горничная и спросила по-немецки, что им угодно (дело-то происходило в Австро-Венгрии). «Научись сперва говорить по-чешски, дура», — произнес в ответ сапер Водичка. Чем там кончилось дело, все помнят . . . Мне кажется, крайняя степень такого вот «национального самосознания» (тут без кавычек не обойтись), к истинному национальному самосознанию этот термин не относится), а точнее — крайняя степень одичания и приводит в конце концов к тому, что люди, живущие бок о бок, люди, которые не могут обойтись друг без друга, которые породнились наконец, — перестают вообще воспринимать других как разумных существ. Какой там взвешенной разум, какие контакты с инопланетянами! Где уж нам! Да и кто с нами, с такими, общаться согласится?

Марина Бернацкая

Р. С. Знаете, никак не пойму, к какой национальности отношусь сама? К полякам? Или вспомнить одного из моих не таких уж и далеких предков и отнести себя к монголам? Нет, наверное, я русская не только по паспорту. Я живу в России, думаю по-русски и бесконечно люблю этот язык. Но — ни членов «Памяти», ни чванливых шовинистов из ИФ (и не только латвийского) считать братьями по крови не желаю. Просто не могу.

М. Б., Калуга

НЕПОГОДА И СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

Было бы неправильным обойти молчанием коротенькое, но категоричное письмо В. Липецца из Москвы («Даугава», 1989, № 12), так как он врач, а медики были в числе первых, кто заговорил в России об отмене смертной казни. Если В. Липеццу в статье Е. Бича показалось кое-что чрезмерным, то мне показалось совершенно абсурдным его собственное обвинение в растлении общественной морали, адресованное Е. Бичу и солидарным с ним деятелям науки и культуры. Обвинение, что «из-за них законы не могут стать преградой росту преступности». Голоса сторонников отмены смертной казни звучат редко и не породили сколько-нибудь заметного движения в обществе. Между тем преступность проявляла и проявляет тенденцию к росту.

В. Липец считает, что «в отношении убийц и насильников не стоит искать оправданий в злодеяниях Сталина и прочих». Оправданий искать не стоит, а вот объяснений росту преступности поискать стоит. Писатель В. Шаламов, отбывший невероятные сроки в сталинских лагерях, определил их как «растление для всех»: заключенных, охранников и читателей его рассказов. Архипелаг ГУЛАГ, подчинивший «врагов народа» уголовникам — «не врагам народа», наполненный садизмом и убийствами, ожесточил всех — и временных и постоянных участников трагедии, множил душевные травмы среди населения, от которого никогда не мог быть полностью отделен. И никогда лагерная система не способствовала перевоспитанию преступников в нормальных людей. Как сказал Министр обороны СССР Д. Т. Язов в ответе радиослушателям, «дедовщина» в армии появилась одновременно с призывом парней, отбывших ранее тот или иной лагерный срок.

Что касается классических причин роста преступности — революций и войн, то и ныне они подтверждаются. В телепередаче по случаю годовщины вывода

наших войск из Афганистана сами «афганцы» признали, что 10% вернувшихся — реальные и потенциальные преступники, а наркоманов и того больше.

Государственный террор и война в Афганистане обесценили человеческую жизнь, обесценили материнство, привели к увеличению числа детоубийств и брошенных детей. Можно вместе с Е. Бичем «ужасаться, что 70% телезрителей готовы взять на себя исполнение смертного приговора над насильником и убийцей», но удивляться этому явлению не приходится.

Видоизменяя фразу В. Липец, можно сказать, что «жертвы революции и сталинизма и рост преступности — это одно, а преступность как таковая — это другое». Да, преступления совершались и совершаются и в мирное время и не при тоталитарных режимах. И как показывают история и статистика, смертная казнь не служит преградой свершению преступлений. Она служит высшей мерой наказания за какие-то преступления, но перечень этих преступлений, наказуемых смертной казнью, то расширяется, то сужается, что само по себе вызывает подозрения в целесообразности именно такой судебной кары.

Преступление, о котором напомнил В. Липец, ужасающе. В подобных случаях и я содрогаюсь, испытываю лютую ненависть к преступникам и желание присоединиться к добровольцам, готовым расстрелять насильника и убийцу. Но я сомневаюсь, что В. Липец смог бы расстрелять всю группу молодежи 16—20 лет, повинную в садистском убийстве девушки. Это он себя оговорил. Именно как врач он сначала проверил бы психическую полноценность каждого члена группы. Затем опять же как врач он вычленил бы фюрера-гипнотизера и его главных подручных из остальных. Затем, по здравом размышлении, подавив эмоции, он мог бы прийти к выводу, что расстрел — недостаточное наказание для насильника и убийцы. Преступник, убийца и насильник, ничтожен вне общества людей. Так не лучше ли посадить его на долгие годы в изолированную камеру, чтобы оставался он там один на один со своей мерзкой душонкой, призраком жертвы и наплывами картин своего преступления?

Людмила Соловкина, Ленинград

Автор снимков в тексте Харийс Бурмейстарс

Обложка художника
Андрея КАЛНАЧА

Сдано в набор 29.03.90.
Подписано к печати 27.04.90. ЯТ 00127.
Формат 60×90/16. Типогр. бумага № 1,
мелованная бумага. Офсетная печать.
Обложка и вклейки — высокая печать.
8,0+0,25+0,25 усл.-печ. л., 9,75 усл. кр.-отт.,
12,15 уч.-изд. л. Тираж 98 000.
Заказ № 595. Цена 45 коп.
Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП,
Баласта дамбис, 3.
Телефоны: гл. редактор 466049,
зам. гл. редактора 465913,
отв. секретарь 465996,
отд. прозы и критики 465992,
отд. поэзии 465998,
отд. публицистики 465990,
техн. секретарь 465993.
Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии,
226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

Технический редактор
Мудите АРАЯ.

Корректор
Любовь СОКОЛОВСКАЯ.

САМАЯ КОРОТКАЯ НОЧЬ...



Фото Айвара Лиепиньша

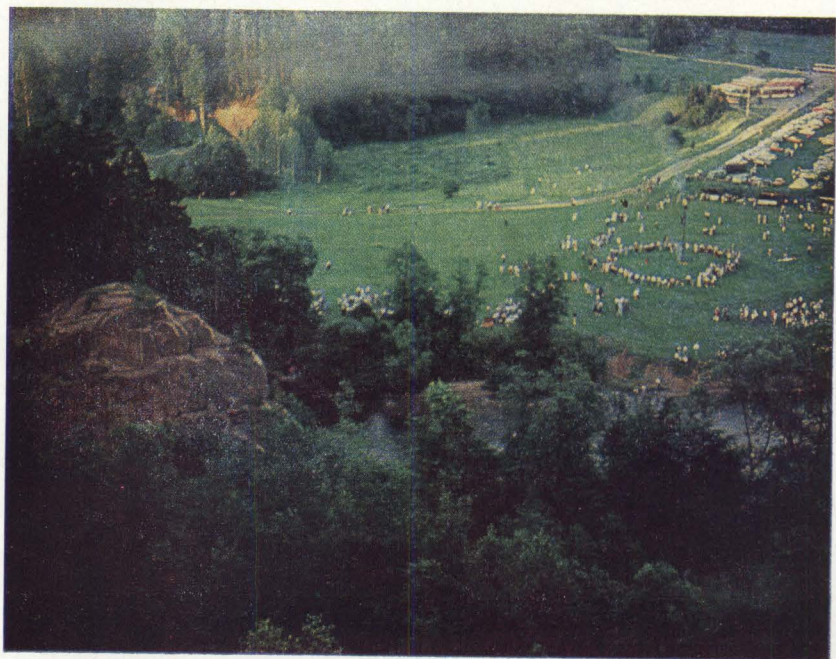


САМАЯ КОРОТКАЯ НОЧЬ...



САМАЯ КОРОТКАЯ НОЧЬ ...

САМАЯ КОРОТКАЯ НОЧЬ...

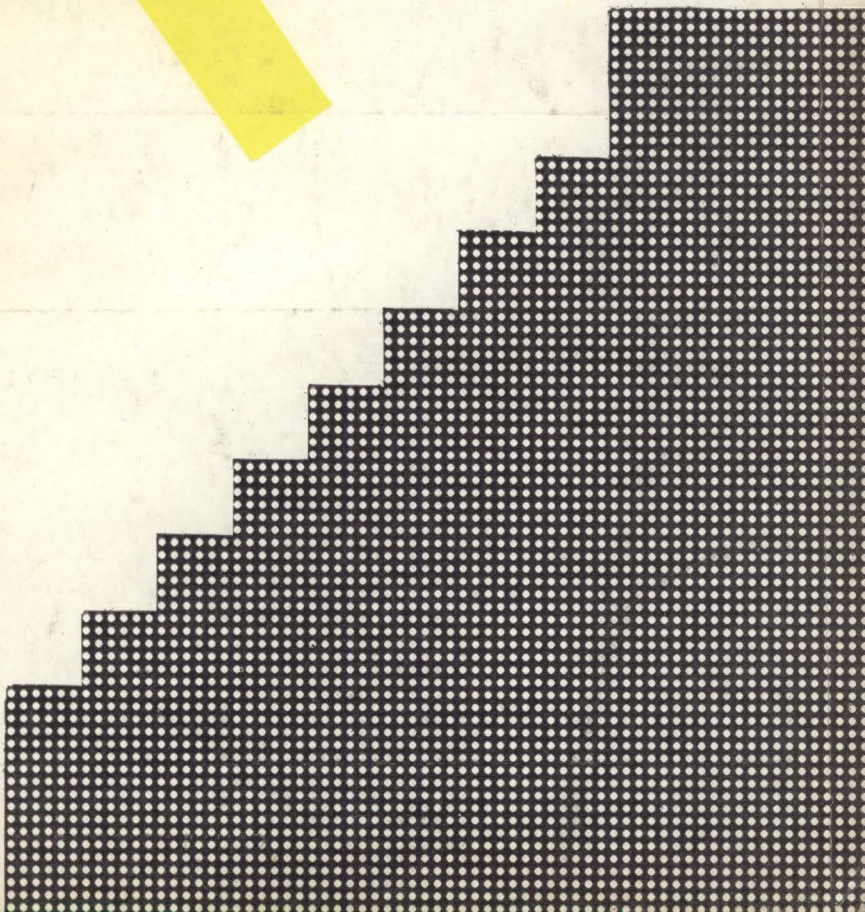
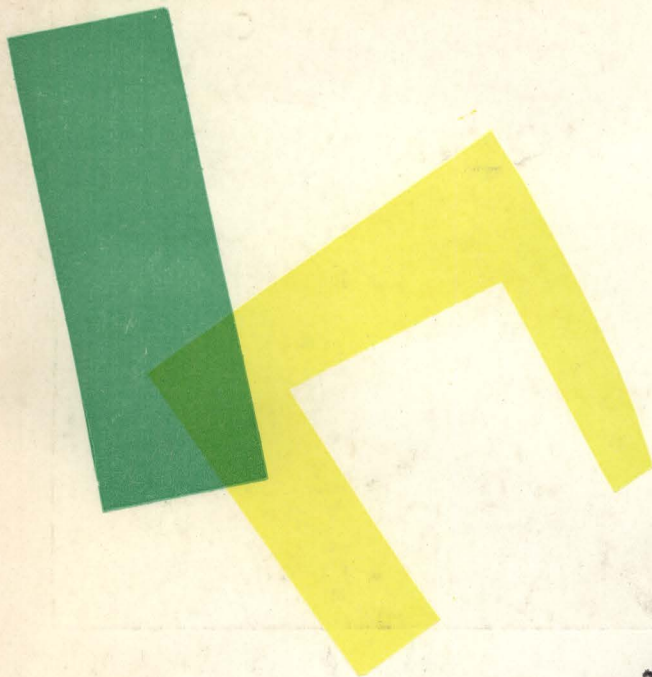




САМАЯ КОРОТКАЯ НОЧЬ...
Фото Улдиса Бриедиса

45 КОП.

ИНДЕКС 77123



ISSN 0207—4001, «ДАУГАВА», 1990, № 6, 1—128